SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вступительная статья, составление, публикация и комментарии Александра Носова. Из некролог Модеста Колеров, Ирина Роднянская, Сергей Панов "**Александр Носов (1953-2002)**" Носов открыл для современной науки жизненное и философское наследие Е. Н. Трубецкого. Опубликованная им переписка Е. Н. Трубецкого с известнейшей благотворительницей М. К. Морозовой стала образцовым исследованием личной жизни философа, по законам русского Серебряного века отлившейся в общественной и мыслительной практике. «Роман жизни» Евг. Трубецкого и М. К. Морозовой, переписку которых он считал ярчайшим культурным памятником. Эти открытые им письма поразили его — и до некоторой степени подчинили себе. В них был столь взыскуемый Носовым сплав жизненной честности и высокой духовности, устремленности к счастью и ответственности перед своей судьбой — и судьбой других, преданности Абсолютному и душевной гармонии, дающей человеку опору в его «трудах и днях». В переписке двух близких людей неразрывно и органично сплелись интимное и эпохальное, Государственный совет и дела по хозяйству, взлеты мысли и духа и домашние сантименты, трагедия и счастье любви и семейные хлопоты. Конечно, философское движение начала XX века, конечно, меценатские предприятия Морозовой, конечно, важные вопросы политики и культуры; но более всего, смею думать, Носова впечатлило высочайшее, запредельное психологическое напряжение (тут и страсть, тут и нравственность, тут судьба) отношений Мужчины и Женщины. Сказать, что эта переписка была Носову интересна, что он черпал из нее не только для своих статей, но и для духовного опыта — сказать еще слишком слабо.

- “Наша любовь нужна России…”
- Письма
  - 1909 год
  - 1910 год
  - 1911 год
  - ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 51
- ○ 52

- ○ 53
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 61
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102

- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150

- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194

- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ *
- ○ *

“Наша любовь нужна России…”

Зимним вечером 1915 года две молоденькие курсистки впервые переступили порог особняка в Мертвом переулке, где происходило очередное собрание Религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьева. Увиденное запомнилось надолго. “…Там, где столик лектора, замечаем величественную фигуру красивой дамы в длинном платье со шлейфом. Многие подходят к ней, почтительно раскланиваются, целуют руку, она приветливо улыбается. Среди подошедших замечаем массивную фигуру уже пожилого человека с явно выраженными монгольскими чертами лица. Дама — хозяйка этого дома, Маргарита Кирилловна Морозова… Она меценатка, субсидирующая издательство “Путь”… Склоненный перед нею в поклоне человек — князь Евгений Николаевич Трубецкой…”

Скажем спасибо молоденькой девушке, запечатлевшей — по наивности или неосведомленности — в словесном портрете стоящими их рядом; другим запомнились: “карельская береза гостиной, прекрасная бронза “empire”, изобилие цветов”; “потрясающе огромные бриллианты в ушах” хозяйки; общая атмосфера “яркого “александрийского” культурного цветения”. Есть портреты, семейные фотографии: Евгений Николаевич — с женой, в окружении детей, рядом с братом Сергеем;

Маргарита Кирилловна — также вместе с детьми, на фоне портрета мужа кисти В. А. Серова; с гостями и сестрой — в саду своего московского дома. Но нет (может быть, все же есть?) фотографии, на которой они стояли бы рядом. Мы так никогда не увидим выражения их лиц в те мгновения, когда встречались их взгляды.

Вполне могло получиться так, что их жизненные пути не пересеклись бы вовсе. Они принадлежали различным сословиям, которые и в начале XX века все еще сохранялись как замкнутые социальные миры. Дед Е. Н., князь Петр Иванович Трубецкой, николаевский генерал и сенатор, не появлялся в присутствии без мундира и золотой шашки “за храбрость”; о деде М. К., Николае Федоровиче Мамонтове, известно лишь, что он был сыном очень богатого откупщика. В то время как отец Е. Н. служил вице-губернатором в Калуге, отец М. К. проматывал родительское состояние в Монте-Карло. Е. Н. женился “по любви” на княжне Вере Александровне Щербатовой, дочери московского городского головы; М. К., “бесприданница”, в восемнадцать лет была “взята за красоту” сыном “потомственного почетного гражданина и Тверской первой гильдии купца”, Михаилом Абрамовичем

Морозовым. В 90-е годы Е. Н. профессорствовал в Киеве, писал научные сочинения о средневековом папстве; М. К. бегать по курсам было некогда — да и незачем: она с мужем разъезжала по европейским столицам и средиземноморским курортам, а у себя дома (точнее назвать принадлежавшее Морозовым здание на Смоленском бульваре палаццо) устраивала приемы и балы, на которые съезжались до двухсот человек. Добавим к этому традиционное для России взаимное недоверие благоприобретенного неродовитого капитала и потомственного аристократического оскудения…

Их первая встреча состоялась, по-видимому, в конце мая бурного 1905 года. М. К., к этому времени тридцатидвухлетняя вдова с четырьмя детьми, предоставила свой дом делегатам Всероссийского земского съезда. Роскошные апартаменты, недавно наполнявшиеся артистической богемой, а по торжественным дням — мужчинами во фраках и дамами декольте, принимали новую публику: земских деятелей, либеральную университетскую профессуру. Врубелевская “Принцесса Лебедь” и “Иветта Гибер” Тулуз-Лотрека, должно быть, с недоумением слушали странные речи — о свободе, народном представительстве, конституции. Наверное, и их владелица с не меньшим удивлением слушала выступавших ораторов, в числе которых были братья Сергей и Евгений Трубецкие.

Эпоха “между двух революций” запечатлена многими достойными летописцами — в том числе и теми, кто входил в ближайшее окружение Е. Н. и М. К.; однако ни один из них даже осторожным намеком не обнаружил своей осведомленности в истинном характере отношений, которые связали их жизненные пути и судьбы. Обстоятельство, надо признать, довольно удивительное: ведь в культурной атмосфере “начала века” любовное чувство утратило качество исключительно интимного переживания — любовь превратилась в некое творческое действие, стала культурно и даже общественно значимым явлением. Состояние всеобщей влюбленности, переходящей в “любовь к любви”, замечательно описал В. Ходасевич в статье “Конец Ренаты”, посвященной памяти одной из героинь тех многочисленных любовных драм, что с шумом и надрывом, словно на театральных подмостках, разыгрывались на глазах многочисленной публики. Стремление превратить искусство в жизнестроительный метод, “слить воедино жизнь и творчество”, разрушало границы между романом в жизни и романом в литературе. Воспоминания о той эпохе полны рассказами о любовных историях, страстях и изменах, причудливых

треугольниках, о смелых экспериментах, убийствах и самоубийствах — и все это легко, изящно, л и т е р а т у р н о.

Десятилетняя любовная драма, пережитая М. К. и Е. Н., не стала фактом литературы — конечно же, не потому, что осталась неизвестной для окружающих; несмотря на все усилия, предпринимавшиеся для сохранения тайны, это вряд ли было возможно. Развивая намеченную Ходасевичем “типологию любви”, можно сказать, что их роман разворачивался в культурной парадигме века минувшего: переживаемое ими чувство было для своего времени слишком искренно, глубоко, цельно, а главное, оно было слишком подлинно; и в нем отсутствовало именно то, на что XX век предъявлял особый спрос, — собственно л и т е р а т у р н о с т ь, игра, всегда предполагающие зрителя, пусть и единственного. Нельзя сказать, что они остались совершенно невосприимчивы к “ядовитым туманам” и “дионисическим экстазам” русского декаданса (в большей степени им была подвержена М. К.), но если бы им суждено было стать литературными героями, то героями классического романа; об их любовной драме, возможно, смог бы рассказать автор “Былого и дум”. Но классический роман ушел вместе с породившим его веком, а новое столетие просто утратило тот язык, который требовался для такого повествования.

За десять лет “беззаконной” любви М. К. не раз приходила в полное отчаяние; в один из таких моментов она написала: “Никогда не суждено мне иметь двух радостей: быть твоей перед Богом и увидеть дитя, в котором соединились бы чудесным образом твои и мои черты! От нашей любви ничего не останется!” Но она знала: останется “Московский еженедельник”, останутся книги, выпущенные ее издательством. Что ж, уже немало. Поэтому в другой раз она уверенно написала те строки, которые вынесены в заглавие настоящей публикации. Но она знала и то, что никто не будет об этом знать. Столько раз давала она клятву, что никогда не отнимет своего возлюбленного у его семьи, — и осталась верна данному слову.

Когда действующие лица и возможные свидетели давней любовной драмы, рассеянные по миру, окончили свой жизненный путь, М. К., пережившая трех императоров и двух диктаторов, написала воспоминания о своей жизни, подробно рассказала о своих отношениях с А. Белым, Метнерами, Скрябиным, Лопатиным. Помню удивление от первого знакомства с ее мемуарами: ничего не рассказала она ни о “Московском еженедельнике”, ни о религиозно-философских собраниях, ни о деятельности “Пути” — ничего о том, что было связано в ее памяти с тем давним чувством. Для многих это явилось

подтверждением не очень лестных отзывов о М. К. некоторых близких ей лиц — правда, на иронические пассажи по поводу увлекшейся философией меценатки были особенно щедры те, кто в свое время не добился ее благосклонности. Она могла сделать так, что о ее любви и не узнали бы — никто и никогда; она этого не сделала, передав весь свой архив в отдел рукописей ГБЛ (ныне РГБ) вместе с теми тысячами писем, в которых запечатлелось все то, о чем она умолчала в своих воспоминаниях.

В. Ходасевич, строго осудивший русский символизм за его одержимость желанием достичь единства жизни и творчества, все же признал, что в этом единстве заключена вечная правда. Переписка Е. Н. и М. К. — нераздельно-прочный сплав жизни и творчества, это роман жизни, сам собою отлившийся в форму эпистолярного романа. Как тут не вспомнить неизменного спутника их обоих — В. С. Соловьева, поразившего во время оно своих последователей утверждением, что действительность выше искусства. В чем мы и предлагаем убедиться…

Переписка Е. Н. и М. К. длилась с 1906 по 1918 год. В настоящей публикации представлена подборка писем за 1909–1911 годы. Именно в этот период обмен письмами становится постоянным и протекает с наибольшей интенсивностью. Один пример: с июня по 20 августа 1909 года Е. Н. отправлено около 60 писем, то есть примерно два письма каждые три дня. При отборе публикуемого материала мы руководствовались следующими принципами. Во-первых, все письма печатаются полностью, ибо купюры в интимной переписке вызывают лишь излишнюю работу воображения; во-вторых, мы стремились сохранить тематическое разнообразие эпистолярия: наряду с письмами, имеющими историко-культурное значение, в публикацию вошли письма деловые или бытовые; наконец, мы стремились по возможности сохранить (точнее, восстановить) характер того эпистолярного диалога, который происходил между корреспондентами все эти годы.

Несколько слов об “эпистолярном поведении” (термин Н. В. Котрелева) корреспондентов. Письма Е. Н. написаны мелким, аккуратным почерком, черными чернилами; стандартный почтовый листок обычно до конца не дописан. Почерк М. К. крупный, размашистый, чернила синие или фиолетовые. Бумага с вензелем “ММ” исписана полностью, слова в конце строки загибаются вниз. Стандартного листа часто не хватает, и текст продолжается на маленьких листочках, которых иногда бывает по нескольку в одном письме. Заключительные фразы с трудом втискиваются на бумажное поле, постскриптумы порой пишутся поперек уже написанного текста. Абзацев М. К. никогда не

соблюдала.

В первые годы знакомства письма М. К. приходили к Е. Н. двумя путями: “официальным”, отправленные по адресу проживания, и до востребования (первое в таком случае помечалось крестиком, что означало наличие второго); к сожалению, письма до востребования часто не сохранялись. С 1911 года М. К. писала Е. Н. в основном до востребования — эти письма уже сохранялись.

Значительные трудности представляет датировка писем. Имеются конверты писем Е. Н., тогда как конверты писем М. К. отсутствуют. Корреспонденты не всегда проставляли даты (особенно редко это делала М. К.). В комментариях к настоящей публикации аргументация в пользу каждой конкретной датировки опускается. В квадратных скобках в начале каждого письма дата указывается всегда по старому стилю.

Все письма публикуются по автографам. Письма Е. Н. к М. К.: ОР РГБ, ф. 171, к. 6, ед. хр. 3а, 3б, 4а, 4б; к. 7, ед. хр. 1а, 1б, 1 в. Письма М. К. к Е. Н.: ф. 171, к. 3, ед. хр. 2, 3, 4, 5.

При ссылках на материалы фонда Морозовой (171) указываются только номера картонов и единиц хранения.

Письма

1909 год

1. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[23 марта 1909 г. Ялта. В Cap-Martin.][1]

23 Марта, Ялта

Христос воскресе[2]

Моя милая, хорошая, радужная и дорогая. Простите, что пишу карандашом, но я пока на биваке и так удобнее. К тому же эдак можно писать и лежа и в саду. Потому часто буду писать карандашом.

Приехал в Ялту только вчера, морем, в чудную погоду, и много о Вас думал: все Вы мне рисовались яркая, радужная, красочная и необыкновенно жизненная. И почему-то именно всегда море всего больше меня с Вами связывает, особенно голубое, лазуревое. Все рисовался мне морской путь к Вам в Ментону, мимо Греции, где как-то мое воображение представляло меня с Вами, и мимо Таурлины [?]. Вообще мысли о Вас — всегда радостные; то представляется средиземная лазурь, то кажется, что, держась с Вами [за руки], я кружусь по комнате, то как-то весь светлею от Вашей солнечной улыбки; и рад в воображении. Доволен светлою, воздушною мечтой.

Вы сердитесь! зачем *только* мечтой? И тут начинается между нами наша вечная ссора. Я по природе медведь[3]. Могу мечтать без конца, не выходя из берлоги; и не замечаю, что мечта иногда переходит в сосание собственной лапы. Вас как реалистку этот медвежий идеализм бесконечно раздражает: Вы находите, что собственной лапой не насытишься! По обычаю русских охотников Вы берете длинную палку и с криком — “гербарий”, “лимонадно-лампадный” и т. п. стараетесь выковырять медведя из берлоги: это охотничье занятие продолжается до тех пор, пока медведь не выйдет из берлоги и не облапит охотника!

Все-таки подумайте, какой же медведь лимонадно-лампадный”!

Но я начинаю балагурить и врать — все оттого, что, разговаривая с Вами, незаметно для себя невольно прихожу в самое веселое, радостное настроение. Оно бодрое и радостное. Спасибо Вам, дорогой мой друг, за это; Вы тут — большую роль играете. Я бодр и радостен потому, между прочим, что теперь самая разлука нас соединяет. Я чувствую, что здесь я отогреваю, радую и успокаиваю другую любящую и бесконечно изболевшуюся по мне душу. Чувствую, что Вы в этом мне друг, поддержка и помощник, что Вы эту душу — также любите. Спасибо, спасибо, дорогая. И все мысли как-то хорошо

складываются в таком настроении. Красивые образы зарождаются в душе в связи с чтением Гоголя; вся современная, прошлая и будущая Россия в них вливается с ее национальной и христианской задачей. Чувствую, что может нечто вылиться[4].

Не тоскуйте же, дорогая; все мое хорошее не перестает [одно слово нрзб.] Вам. Только не слишком и не до конца сердитесь на Вашего медведя. А я крепко и без конца целую Вам руки. Хочу, чтобы Вы получили это письмо в самый день Пасхи.

Еще раз Христос воскресе Целую троекратно.

Во истину воскресе

Ваш Е. Т.

2. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[30 марта 1909 г. Ялта. В Cap-Martin.]

30 Марта, Пасха

Милая Маргарита Кирилловна

Незаметно для меня прежнее бодрое и веселое настроение изменилось. Не буду я с Вами балагурить в этом письме.

Мне нужно солнце, а его нет. Первый день Пасхи — целый день *метель!* Сегодня падают крупинки снега. Вот наша русская Ривьера на шаромыжку!

Поставили вместо гор какие-то небольшие ширмы, отделяющие от севера, поставили криво и сказали: “авось и так будет тепло”. А северный ветер прорывает сквозь перегородку и все заносит снегом! Совсем по-русски: все на обмане и на жульничестве.

То ли дело у Вас за границей: построили *честно* Ривьеру, не жалея средств; устроили *настоящие* Альпы и поставили как следует, без надувательства; оттого у Вас тепло!

Отсутствию солнца способствует, конечно, отсутствие от Вас писем. Это начинает меня тревожить! Я послал Вам за это сердитую открытку. Но теперь гнев сменился беспокойством; какая Вы уехали из Москвы? Может быть, гневная, бурная, за что? Зачем Вам понадобилось, чтобы тут мою душу заносило метелью, не понимаю. Ведь все же делается с Вашего одобрения, согласия и даже по Вашей программе, в том числе и этот разъезд.

Подъем с Гоголем приостановился, потому что я все еще занят чтением и не перешел к письму; а много радостных минут я пережил, много красивых картин видел и красивой внутренней словесной музыки слышал. Надеюсь, что все эти переживания вернутся, когда перейду к писанию. Но… необходимо, чтобы к этому времени хоть бы какое-нибудь письмо пришло от Вас. Прощайте. Крепко, крепко целую обе Ваши руки, хотя они не пишут.

Ваш Е. Т.

3. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Последние числа марта 1909 г. Cap-Martin. В Ялту.}

Христос воскрес, дорогой и милый Евгений Николаевич! Как Вы, здоровы ли? Как встречаете Праздник? Мы как-то его не чувствуем, так ошеломляет этот волшебный мир и так он далек по своему мистическому смыслу от смысла этого Праздника. Во всей этой красоте столько самоутверждения, в такой силе и красоте, что все забываешь и отдаешься этому влиянию. Эти краски, ослепительный свет, сверкающие искры, голубое сиянье, цветы, аромат — кружат голову, гасят мысли и подчиняют себе. Окончательно глупеешь, смотришь только и вдыхаешь все это. Надеюсь, что у Вас также хорошо! Как тут не *чувствовать* себя пантеистом? Как Гоголь верно говорит, “хочется вернуться к первозданным элементам”[5]. В Cap-Martin — удивительно. *Только* здесь и хорошо и, сравнительно, близко к природе. Сад кругом — просто рай. Я утром гуляю, сижу на камнях около моря. Любуясь этой природой, сливаешься, исчезаешь в ней; она поглощает, и радостно это состояние какого-то небытия. Обратно все у нас, на севере. Как наша природа духовна, объективна, как она пробуждает самодеятельность, просветляет душу! Наши леса на Волге. Вспоминаю их действие — и сейчас эта картина! Два мира и оба прекрасные; и то и другое нужно переживать, чтобы узнать мир во всей его глубине и красоте. Я очень рада, главное, этому чувству небытия. Очень хорошо, что душа молчит, находится в пассивном состоянии. Это отдых! Но, по существу, это все *мне сейчас* далеко, если бы запросить и пробудить мою душу; она только загипнотизирована. Но я хочу поддаваться этому гипнозу! Единственная область *жизни* моей души, кроме моего друга и ангела Мики[6], это Гоголь! Боже мой, какие дорогие, чудные люди есть у нас, ну как не верить в Россию. Как все ее горести и страдания вынашивались этими великими душами! Вот сейчас *никого* нет, кто бы *так* любил Россию! Ах, если бы Вы вот *так* любили Россию — что бы это было! Об этом я всегда ужасно мучусь!. Гоголь и Достоевский — две самых глубоких русских души, и обоих коснулась какая-то тьма, и обе так звали свет и понимали его! Я согласна с Мережковским, хотя многое он противно и тенденциозно натягивает, что это объективная религиозная трагедия![7] Гоголь, какой это гениальный, мировой ум при отсутствии мировой живой любви, мировой души, действия! Одна любовь спасает, разрешает все! Как он звал ее, молил о ней, а она не приходила! “Чувство холодной черствости в душе!”[8] Какой ужас (как я боюсь

этого), нет ужаснее трагедии. Это бесконечная тема — Гоголь. Что Вы думаете об этой его внутренней драме? Напишите. Конечно, он умнее всех был в свое время и начинал новый путь, действительно пророческий. Ведь сейчас мы именно *так* должны понимать задачу России, как он ее прозревал. Эта гениальная статья в “Переписке”, “В чем существо русск<ой> поэзии”. Как он прав, что “нужно *обратиться к истинно русскому, разгадать эту неразгаданную тайну русского ума, души, языка”. “Нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземном наречии всю дрянь, какая пристала к нам(9)*. Ну, какая прелесть это, как верно. Это про кадет! Мне неудержимо хотелось бы поговорить с Вами сейчас об этом и почитать все это! В письмах не вспомнишь миллиона мыслей, самых дивных и глубоко современных, вечных, рассыпанных повсюду! Как он понимал, что надо преобразовывать жизнь, просвещать душу любовью, подвигом! И это единственно верный путь. “Бороться сейчас не за временную свободу (права и привилегии), но за душу!”[10] Ужасно хочется поскорее знать, что Вы думаете о Гоголе! Подробно напишите! *Что,* какую тему Вы сделаете лейтмотивом Вашей речи. Надо же напомнить на этом торжестве всем о *любви к России.* Неужели все будут говорить о *литературе,* а не о *главном в* Гоголе. Вы-то хоть скажете *живое* слово»(11). А то страшно становится при мысли обо всех добродетельных старичках и отживших и не живших профессорах[12], которые будут болтать вздор обо всем рядом, а самого главного не узрят. Мережковск<ий> красиво разовьет, но подозрительно и нечисто, как всегда[13]. Я теперь очень счастлива, что Вы будете говорить. Вы один живой и истинно русский, можете все это почувствовать и зажечь! Это необходимо — будить душу. Еще одна есть тема у Гоголя — моя любимая, но об этом до другого раза! Скорее, скорее отвечайте на все вопросы! Жду с нетерпеньем! Сердечно преданная

М. Морозова.

4. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[7 апреля 1909 г. Ялта. В Москву.]

7 Апреля 1909, Ялта

Милая и дорогая Маргарита Кирилловна

Почта идет так безобразно медленно, что я должен писать уже сегодня, чтобы письмо пришло в Москву к Вашему приезду. Теперь уже не за горами время нашего свиданья. Я буду в Москве к 18 утром в Субботу, и мы, конечно, в тот же день увидимся: в обычный час я буду в редакции. С крайним нетерпением жду этой минуты; но для меня совершенно ясно, что ускорять ее еще я не должен. Пребывание в Крыму было очень полезно нам всем; но

оставлять теперь мою жену одну со своими мыслями было бы *крайне для нее вредно,* а стало быть, вредно и для меня. Она приедет два дня спустя после меня, в Понедельник.

Дорогой мой друг! Как я рад, что всего этого Вам не надо пояснять, что во всем этом Вы мне помощница и что Вы с полуслова меня понимаете. Что за ангельская душа моя жена! Вот уже два дня как она по нескольку раз напоминает мне, чтобы я отправил письмо *сегодня,* чтобы оно непременно поспело к Вашему приезду, точно этого я сам не знаю; и сколько раз она повторяет, что хочет Вас видеть! Боже мой, за что я так избалован любовью!

Убийственно медленно идет почта, так что трудно отсюда представить себе, что делается у вас и обратно. Но чувствую и понимаю, что Вы погружены в Гоголя; и не скрою, что чувствовать мне это очень приятно, потому что этим хоть духовно уничтожается расстояние, вследствие чего я сосу свою лапу с большим воодушевлением.

Не торопите меня вопросами. Всего не объяснишь в письме, т. к. выливается много из-под пера и льется пока свободно и с подъемом. Скажу только, что мы встретились: основная тема, — конечно, — Россия; статья могла бы быть озаглавлена “Борьба с пространством в творениях Гоголя”; а самого Гоголя я изображаю как народный тип странника-богоискателя.

А ведь Вы меня в самом деле знаете, знаете настолько, что почувствовали даже, с какой стороны мне следует заглянуть на Гоголя.

На прощанье скажу Вам, что были в Ялте трудные, очень трудные минуты, часы и дни, труднее, чем я себе представлял; но всему Бог помог. Опять послал свою бесконечно ясную бездонную голубую лазурь над нами. Опять светло и ярко на душе.

Почему Вы говорите, что эта яркая южная природа противоположна и чужда светлому Христову Воскресенью? С каких пор Вы представляете его себе аскетически? ведь оно — вечный юг, вечное солнце — реальный свет и реальное небо, — все в бесконечно более ярком виде, чем все нынешнее. Но все-таки ни от Крыма, ни от Ривьеры Воскресенье нас не отделяет; потому что и в водах, и в небе, и в цветах, и в деревьях *оно* отражается; я бы отверг новые небеса и новую землю, если бы не был уверен, что там будут и цветы, и зелень, и бесконечно реальные краски, и вся тварь воскресшая.

Вот подите же. Вы называете себя реалисткой. А кто из нас двух *в этом* больший реалист? Нет ли у Вас тут в представлении о новых небесах отвлеченного идеализма? Ведь новая земля — не *гербарий!!!*

Крепко целую Ваши руки. Ваш

5. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[9 апреля 1909 г. Из Ялты в Москву.]

Милая, дорогая

Получил Ваше письмо, карандашом написанное на камнях[14], и ужасно обрадовало меня то, что Вы пишете про чувство к моей жене. Пусть оно растет и углубляется; особенно рад тому, что оно для Вас служит “мерилом”. Это в Вас серьезное и глубокое. Поэтому меня не смущают Ваши нападения на мои “добродетель” и берлогу: это у Вас наносное и несерьезное и с новым мерилом несовместимое. Тут “хищнической” охоты не должно быть. А должны мы с Вами вместе подумать, как бы волос не упал с ее головы; без этого ни Вам, ни мне нет благословения. Никакое “развертыванье сил” не может иметь цены, если я стану мучителем и палачом моего ангела. О какой тут можно думать проповеди!

Помните, что для нее я — все. Самоотречение у нее безграничное; но столь же безгранично она меня чувствует — всякое мое слово, даже не сказанное, всякое чувство, только зарождающееся. Всякое письмо, мною полученное и ей не показанное, чувством слышит. Всякое изменение мое ко мне [себе?] ощущает как муку и болезнь.

Вот Вы все это возьмите во внимание и тогда поймете, почему были здесь минуты столь ужасающе трудные, когда я никакого выхода не видел и погружался в мрачное отчаяние. Чтобы Вы и я были радостны, нужно, чтобы она была радостна.

Вы это понимаете и чувствуете, а остальное должно отойти на второй план. Вы понимаете и то, до какой степени такие слова, как “добродетель”, “долг” и т. п., тут неприложимы. Ведь не только у меня, и у Вас не “долг” действует на отношения к моей жене. Она просто вошла к Вам в душу и поселилась, без всяких стараний и усилий. Это и хорошо; за это я бесконечно благодарю Бога, а Вас люблю не меньше, а больше. Эти цветы никогда не увянут.

Ну прощайте же на сегодня. Крепко, крепко целую Ваши руки. Не сердитесь же на Вашего медведя. Кончаю Гоголя.

6. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[29 мая 1909 г. Москва. В St.-Blasien.][15]

1909 29 Мая, вечером

Людям скучно, людям горе

Птичка в дальние страны

В теплый край за сине, море

Улетает до весны![16]

Милая, дорогая, хорошая

Боже мой, как сразу стало пусто, грустно, уныло в Москве после твоего отъезда. От тебя пошел шататься по родственным домам, чтобы как-нибудь заполнить время; но пустая Москва — невыносима. Поняла ли ты, что *я нарочно* попался навстречу на Смоленском рынке, рассчитав время твоего отъезда, и что это должны были быть последние мои *одной тебе* понятные проводы, стало быть, — без профанации?!

В других письмах буду писать тебе “Вы”, но ты читай “ты”, а теперь не могу, не хочу, да и не нужно. Боже мой, сколько хорошего, радостного, веселого оставила ты по себе в моей душе: как после пролета падучей на небе остается долгий, светлый след, так, кажется, теперь и в моей душе. Только это — не бледный след, а целый сноп света. И хочется уйти от всего внешнего внутрь, вглубь, чтобы ловить, созерцать и удерживать этот свет в себе.

Медведь опять ушел в свою берлогу; но ведь и ему без солнца нельзя; и он ждет весеннего пробужденья и весенней игры света, чтобы радоваться. Дорогая моя, грустно, больно и невероятно, невозможно кажется, что мы не увидимся так долго. Не верится, и сквозь грусть все-таки радостно, потому что слишком реально, слишком действительно твое присутствие. Вижу тебя в зеркале в одном, в другом, в третьем; вижу под двумя образами у тебя, под образами в редакции[17] Жадно впиваюсь во всякие подробности обстановки, тебя окружавшей, чтобы надолго с закрытыми глазами видеть. И вижу! Боже мой, какая неправда пространство, нас разъединяющее! Пойми ты, какая это ложь, когда в душе так близко, а верстами так далеко. И вот доказательство, что мир во зле лежит: в нормальном, должном, будущем мире — что близко душе, то и пространственно непосредственно близко. Вся громада расстояния происходит оттого, что материя непроницаема; нужно *преодолеть ее сопротивление,* чтобы доехать до того, что мило и дорого, и подвергаться для этого бессмысленной тряске в вагоне. И вся непроницаемость оттого, что мир — распавшееся, покинутое душой тело. Он одухотворится, но еще не одухотворен. Пока эта природа, которую ты склонна считать совершенством, только “натура” (по-латыни буквально — “имеющая родиться” — стало быть, еще не родившееся).

По мне, есть реальности выше “натуры”. Все эти милые, *живые* уголки в твоем доме, в редакции, в твоей душе, в моей душе, все это живет, все это дышит, все это наполнено нашей *общей* жизнью вопреки непроницаемости; не близость моя с тобой мечта, не полет, не легкость, а наоборот — отдаленность,

тяжесть, косность — вот что мечта и продукт больного воображения. Милая моя, пойми, что мир болен, потому что не целостен. Будем же вопреки ему целостны и здоровы!

Как я рад, что успел перед отъездом повидать тебя с твоими детьми и подружиться с твоей Марусей(18). Ты видела, что я в эти дни рассматривал тебя и вблизи и вдали, и спереди и сзади. Со всех точек зрения и во всех свойственных тебе обстановках хотелось мне тебя видеть и запомнить. Вот еще одна милая обстановка и картинка, — в твоем саду, с твоим Микой и с столь лезущей мне в душу Марусей.

Вот она сразу поняла, что расстояние вздор и что следует нам всем быть близко. Поцелуй ее от меня крепко, крепко, всегда радуйся и не верь разлуке, а смотри на небо и слушай, что тебе поет —

твой жаворонок.

PS. Он поет про истинную твердь, что не земля есть твердь, хотя она нам кажется твердью, а что твердь есть лазурь, синева, солнечный свет, словом, все то, что нам кажется нетвердым, призрачным, и что не небо держится землей, а земля — небом. Он видит мир в опрокинутом виде, но в этом он — прав. Наш мир — только негатив истинного мира; чтобы видеть позитив, надо опрокинуть негатив. Поняла или не поняла? Не заключай из сего, что я усвою себе привычку стоять кверх ногами. Но *ходить на голове* я от времени до времени буду *от восторга,* когда буду тебя видеть. И право же, человек, *ходящий на голове,* более нормален, чем стоящий на ногах; последний представляет *мир какой есть;* а первый — *мир как он должен быть.*

Итак, в заключение сего послесловия беру тебя за обе руки и начинаю обычный танец, чтобы в вихре полететь туда, где поет жаворонок.

Боже мой, ты, кажется, сделала из меня декадента! Все оттого, что научила ходить на голове! Но это — от восторга! Вот что делает красота! Со временем она опрокинет мир, потому что сделает небо его основанием. Но уже теперь красота опрокинула что-то во мне, поставила все вверх дном в моей душе.

Кто тебе позволил делать в моей душе такой беспорядок? И не есть ли это новое доказательство того, что ты — тут, моя дорогая. Где ты, там и хаос, Unordnung.

Милая, не верь пространству, не верь разлуке. Тогда ее и не будет, она уничтожится.

Верь только жаворонку.

7. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Последние числа мая — первые числа июня 1909 г. Берлин.

В Бегичево. Конверт и бланк: Continental Hotel. Berlin, N.W.Neustadt, Kirchstr. 6/7.]

Дорогой и милый Евгений Николаевич! Слишком хочется поболтать с Вами, потому не могу удержаться, чтобы не написать Вам несколько слов. Еду и все думаю, вспоминаю Вас, милый и хороший, и благодарю за все без конца! Столько хорошего и светлого в глубине души, что оно даже слышится сквозь грусть и печаль настроения отъезда и разлуки. Это большое испытание моим силам — так долго не видать Вас и моей сестры[19]! Надеюсь на Бога — он поможет мне не терять света в душе! Как я счастлива, что пришлось еще Вас повидать перед отъездом и встретить по дороге! Это мимолетно, но я сочла это радостным предзнаменованием! Значит, все будет хорошо и светло! Благодарю Вас за все, за все! Сейчас я полна планов! Мы с детьми обсуждаем, как будем работать, читать. Распределяем часы! Сейчас же по приезде я начну заниматься со страшным рвеньем! Всего на мою долю приходится от 6-ти до 7-ми часов занятий! Дай Бог, чтобы ничего не мешало это выполнить! Сегодня по приезде сюда пошли осмотреть музей старой школы! Он небольшой — есть чудные Ботичелли! Вчера все читала по дороге Чаадаева[20]! Есть мысли, которые меня поразили, потом напишу Вам, я их заметила! Очень хорошо у него выражено многое, о чем всегда думаешь! Дети меня веселят и оживляют душу! Вчера у нас был день волнений! Мика был взволнован отъездом и ревностью к Марусе, потому запирал дверь все время, чтобы остаться со мной наедине, и плакал! Маруся тоже плакала и сердилась! Смешно и мило было ужасно! Вы покорили Марусю, она все меня просила сказать Вам по телефону, чтобы Вы ехали на вокзал и с нами в вагоне. Она объявила Freulein, что видела “ein Mann, der alles kann”, вышло даже стихами! Что ж, ведь она права! Очевидно, Вы поразили ее воображенье! Как Вы? Что делаете, как себя чувствуете, как занимаетесь? Обо всем, обо всем напишите мне, дорогой Евгений Николаевич, поскорее! Что Вера Александровна? Я ей пишу сейчас карточку! Все вспоминаю ее! Не хочу верить, что мы так долго не увидимся. Тут у меня как-то останавливается мысль и воображение, так мне грустно и темно! Но надо верить, верить! Что же делать! Буду ждать письма. Напишу по приезде в St.-Blasien! Сердечно преданная Вам

М. Морозова.

8. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[1 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

Бегичево 1 Июня

Милый и дорогой друг

Приехал в деревню и вступил в отправление своих обязанностей: хожу по полям, вижу собственными глазами на них неурожай, ловлю и выгоняю из собственных хлебов моих же собственных лошадей. Возмущаюсь, когда вижу, что мужики проложили колесную дорогу через мою рожь. Словом, чувствую, что мое Бегичево не онемечилось. Крутом родная неурядица. И странное дело, меня это одновременно и бесит и успокаивает; бесит как человека с европейской культурой и вдобавок — помещика, а успокаивает потому, что ужасно много в моей душе непобежденного, инстинктивного сочувствия к этому хулиганству.

Всякий русский — в душе хулиган. Будь я сейчас в Шварцвальде, я наверное сердился бы, что лугов топтать не дозволяется и что надо идти по дорожке под угрозой штрафа.

Принялся за занятия. В один день прочитал всю переписку Соловьева. Боже мой, как это мне его воскресило. Редко чьи письма так передают человека, как соловьевские; пишет совершенно так, как разговаривает. И господствующая нота та же — балагурство. Когда он не философствует и вообще не творит, — он только балагурит; таков был он в жизни, таков и в письмах. Нашел у него стихи, где это объяснено (стр. 19 стихотворений).

Таков закон: все лучшее в тумане,
А близкое иль больно, иль смешно.
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано[21].

Для обыденщины в этой душе нет места — либо смех, либо рыданья. А вот удивительно сильное и лаконичное выражение того, о чем мы в Москве столько говорили в лучшие, восторженные минуты.

“Я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, *тяготеющая над нами вещественность всегда представлялась мне не иначе как некий кошмар сонного человека, которого давит домовой”* (Письма, стр. 33–34)[22].

Когда я писал про лживость и кошмарность расстояния, отделяющего Бегичево от Шварцвальда, я еще этого письма не знал.

В общем, я еще не вошел в силу: напротив, после Москвы и испытанного там подъема чувствую некоторый упадок — un affaissement. Но оно и неудивительно: моментального возвращения веселости и бодрости не может быть в такой дали от Villa Bristol. А тот подъем, который дается работой, наступит не скоро: для этого надо втянуться. Но унынья у меня во всяком

случае нет и теперь.

Почту берут, крепко, крепко целую ручки и……..

9. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[8 июня 1909 г. St-Blasien. В Бегичево.]

8го июня

Дорогой Евгений Николаевич! Какая я глупая, по рассеянности наклеила не ту марку на письмо к Вам; боюсь ужасно, что Вы его не получили. Хотя меня очень утешает, что и на Вашем письме была марка в 7 к<опеек>. Ах, как досадно, если Вы не получили моего письма! Спасибо, спасибо за письма! Пишите чаще хоть словечко! Как это меня бодрит и радует, когда я вижу Ваш почерк. Я все еще не совсем хорошо себя чувствую. Работа начинает налаживаться. Я только что написала Вам, как получила Ваше письмо, и Вы также пишете о работе, что это не сразу приходит. Я это понимаю! Так же и с музыкой! Я прочла “Великий Спор”(23) — очень хорошо! Чудно сказано о христианской политике — богочеловеческом домостроительстве, как он говорит. Все его основные мысли мне так знакомы из Ваших разговоров и статей и вообще так близки моей душе, что я уж к ним отношусь как к своим мыслям. Вообще Соловьев удивительно ярко выражает полноту жизни как согласование вечного, идеального и деятельного начала. Его мысли о Церкви также чудные. Все вообще, что он говорит, принципиально глубоко верно, но отчего в проведении в жизнь все становится таким уродливым! Например, национальное чувство — как оберечь его от вражды и обособления? Ну как оно может не враждовать? Насчет Польск<ого> вопроса он вполне прав, что *дух сильнее крови.* На этом основании Поляки всегда будут ближе с Европой, а нас предадут, по-моему, как только будет возможно. Также и все эти Славяне![24] Во всем прав Соловьев, но только не понимаю я того средства, которое он указывает, как могущее быть началом возрождения духа Божия. *Соединение Церквей*, примирение Востока и Запада через это соединение! Я с ним согласна, что необходимо соединение Востока и Запада как деятельного начала с мистическим, но это задача внутренняя, прежде всего психологическая. А это выйдет какое-то механическое соединение, а нужно прежде всего органическое, а результат уж сам явится. Это все в мыслях очень красиво построено у Соловьева, чересчур схематично, но не глубоко. Гораздо более я согласна с Чаадаевым, он говорит в своем 3ем письме на стр. 271: “чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны пройти через великое испытание, через всесильное искупление, которое весь христианский мир испытал

бы во всей полноте, который на всей земле ощущался бы как грандиозная физическ<ая> катастрофа; иначе я не представляю, как мы можем очиститься от грязи, оскверняющей нашу память". Это замечательно верно, как для отдельного человека, так и для всего мира. И еще важнее, по-моему, внизу там же примечание: "для нашего времени положительным счастьем является вновь открытая с недавних пор историческому мышлению область, *не зараженная гомеризмом. Влияние идей Индии уже* сказывается на ходе развития философии благотворн<ым> образом. Дай Бог, чтобы мы пришли окружным путем к той цели, к которой короткий путь не мог нас привести"[25]. Это начало пути к той же цели, но это действительно верно и взято из глубины. Нужно вообще изменение всего внутреннего "метода", всего направления, духа мышления и вообще внутреннего пути. Это глубоко важно и должно подготовить почву для действительного слияния двух начал. Надо позаимствовать от Востока его идеи. Как же иначе, как не через восприятие этого мистического метода, может произойти изменение и взаимное проникновение Востока и Запада. А в России и через нее это и может лучше всего начаться. Опять как Чаадаев говорит, что "западный силлогизм нам незнаком, мы не воспринимаем преемственных идей человечества". Поэтому мы и более свободны начать новое. Простите, что я так распространяюсь об этом, но это очень, очень важно для меня, потому и пишу Вам и очень прошу, напишите, что Вы об этом думаете? Непременно ответьте. Мне очень хочется уяснить себе, что Вы об этом думаете? Какой путь, черезо что надо идти, чтобы направить весь этот корабль к желанному берегу! Когда же все перестанут суетиться и толкаться в темноте! Когда из "недотыкомок" (так Сологуб называет всех) [26] превратятся в богочеловеческих строителей? Напишите.

10. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[11 июня 1909 г. Бегичево. B St-Blasien.]

11 Июня 1909 г.

Дорогая Маргарита Кирилловна

С большой радостью получил открытку с необыкновенно симпатичным видом на Philosophenweg(27), а также письмо от 6 Июня. Philosophenweg приводит к дому, где читаются сочинения Соловьева; так оно и исторически произошло — именно немецкая "философская дорога" к нему привела. Значит, это — путь верный. Странным образом последнее Ваше письмо пришло ко мне через Москву, а потому шло 5 дней.

Я также теперь только что одолел "Теократию" и читаю "La Russie et l'Eglise Universelle" — необходимое к ней дополнение[28].

Вероятно, можно заказать какому-нибудь книгопродавцу. Много нового выясняется мне в этой теократии. Соловьев не то чтобы отказался от нее, но оставил эту мечту в конце жизни (“Три разговора”). Теперь нужно, чтобы эта теократия стала окончательно “Uberwunderer Standpunkt”. Ни в какие рамки человеческой теократии Божеское царство никогда не вместится. Это — в сущности, попытка Петра — построить три кущи для Иисуса, Моисея, Илии и удержать на земле преображенное Божество. Нельзя! И мы хотим сделать то же с нашим освободительным движением, но последние годы доказали, что Христа земля не принимает и во всяком случае — в себе не удерживает. Земля не готова еще, а когда она будет готова, — будет сразу само Царствие Божие, а не промежуточная ступень теократии. В сущности, уже в “Трех разговорах” Соловьева это промежуточное звено выпадает: вместо теократии — соединение церквей где-то в пустыне в лице немногих верных, а потом — сразу кончина мира.

Вы не думайте, что этот мой ход мыслей похож на монашеский аскетический пессимизм. Нет! Я все-таки вижу здесь, на земле, огромную задачу — готовить эту самую землю к преображению. Только все-таки это не будет боговластие, потому что *внешним*образом до конца мира Бог еще не будет царствовать. *Внешним* образом будет скорее торжествовать зло; апостолы недаром говорят, что если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, мы были бы несчастнее всех человеков.

Мне удается доказать, что теократическая мечта Соловьева — не что иное, как последний остаток славянофильства (Россия — народ-богоносец). Она и есть “богоносец” — это правда, в идее, в умопостигаемом характере; но эта идея осуществится в чем угодно, только не в политическом могуществе. А Соловьев мечтает именно о могущественной русской теократической Империи[29]. Возможно, в будущем нам придется пройти через целую серию внешних неудач и бед, чтобы возгорелся в нас огонь: удачи чаще всего заставляют народы забывать о религии. Я боюсь, что русский народ только тогда сможет исполнить свое религиозное назначение, когда ему на земле станет уж очень плохо. Ну, прощайте, крепко целую Вашу руку. Жена Вас целует. У нас после потопов два дня чудной погоды; только к ночи дождь.

Ваш Кн. Е. Трубецкой.

11. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[В одном конверте с предыдущим.]

№ 6

Милая и бесконечно дорогая

Я также пишу Вам два письма и по той же причине: второе — совсем, совсем между нами. Хорошо, что дети в Villa Bristol не дают плакать, т. е. мешают отдаваться слезам; а то ведь эдак можно совсем известись! Нельзя *всегда* сдерживаться; но ведь можно и вечером поплакать, когда дети легли спать, не так ли? А все-таки я ужасно надеюсь на моего милого “Ваньку-встаньку”, — на силы, которые в Вас есть и несомненно Вас вывезут.

О моем настроении много говорить не буду; почему? Потому что не следует слишком в нем копаться: иначе доковыряешься до боли. Скажу только, что по отношению к Вам оно неизменно, моя милая, дорогая. Вот другое письмо мое в этом конверте очень характерно. Почему ход мыслей о Соловьеве так сам собой отливается в письмо к Вам; потому что так связано с Вами все, что я думаю. Вот этот Philosophenweg в St-Blasien правда замечателен, но символичен: он приведет Вас ко мне, моя бесценная, дорогая.

Что касается моего здоровья, то оно — так себе: увидим к концу месяца, можно ли вылечиться здесь или надо ехать за границу, так же и относительно жены.

Прощайте, мой ангел дорогой
крепко, крепко

12. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[11 июня 1909 г. St.-Blasien. В Бегичево.]

11[e] июня

Многоуважаемый Евгений Николаевич! Сейчас собралась написать Вам под свежим впечатлением только что прочитанного Еврейск<ого> вопроса, как получила Ваше письмо, как раз с советом его прочесть[30]. Я эти два дня поднялась духом, так увлеклась этой вещью! Очень, очень много там моих самых любимых и сокровенных мыслей. Я теперь определила, что это во мне иудейское сидит. Есть там много и Ваших любимых мыслей, с которыми и я согласна, на стр. 140—1–2—3. Мне очень хочется Вам написать и отметить все, что мне особенно запало! Какая прелесть эта молитва: “скоро храм твой создай, скоро, в дни наши, как можно ближе, нам создай, нам создай!”[31] Господи, как это хорошо, как это близко моей душе, эта тоска и это желание! Как-то подымаются все надежды и силы от этих слов. Может быть, где-нибудь, в чем-нибудь увидим — переживем! Это родные мне звуки! Я теперь определила, кроме того, что я религиозная материалистка. Вот как у Соловьева замечательно выражено: “Еврей не хочет признавать такого идеала, который не в силах покорить себе действительности и в ней воплотиться. Он верит в невидимое, но хочет, чтобы невидимое стало видимым и

проявляло бы свою силу”. Потом еще: “Евреи не относились к материи с равнодушием и отчуждением, ни с враждой”[32], т. е. нужно любить эту самую *материю,* чтобы она преобразилась и перестала быть материей сама по себе. Только тогда жизнь может быть сколько-нибудь прекрасной и отражать хоть в слабой степени идеальное, а иначе раздвоение и уродство! Ну вот теперь самое замечательное: “Религиозный материализм происходит не от неверия, а *от избытка* веры, жаждущей своего исполнения, *не от слабости духа, а от его силы и энергии,* не боящейся *осквернить материей, а* очищающей ее и пользующейся ею для своих целей”!(33) Все это мои любимые темы. Но как удивительно это все выражено, как тонко; сколько мудрости, жизнерадостности, яркости в этом мировоззрении! Вот потому-то из этого и родился Христос, с такой силой *любви к людям,* к миру! Вот вследствие отсутствия такой любви и провалилось Платоновское государство — это Ваше(34)! Впрочем, Вы — буддист! Не по мыслям, я про мысли не говорю, а по чувствам к миру и вообще ко всему! Нужно, чтобы все чувства проникали в самые недра земли и ее преображали! Тогда и родится Христос. Конечно, все это я подразумеваю символически, он может родиться в виде книги, дела, но непременно в соединении, в проникновении в мир. Замечательно глубоко говорит Соловьев, что в Христианстве нам открылся крест и новое отношение к страданию, которое было непонятно иудеям[35]. Все, где Соловьев говорит о религиозном, внутреннем или мыслит отвлеченно, — он просто гениален! Но его мысли в применении к действительности, или когда он их облекает в более конкретное, — мне всегда не нравятся! Конечно, я мало понимаю и боюсь слишком смело рассуждать и критиковать, но Вам мне всегда хочется излить все мои мысли, а Вы мне скажите, если я думаю глупости. И странное дело — все эти его рассуждения мне кажутся не серьезными, легковесными. Этот диалектический способ всегда меня ужасно отвращает, он как-то остается висеть в воздухе, нет крови и плоти в этом мышлении. Эти красивые схемы просто раздражают и после такой глубины кажутся слащавыми и внешними. Менее последовательное мышление, но идущее из недр жизни, всегда в конце концов даже последовательнее. Мир ведь весь в глубочайших антиномиях. А как только начнут гладко выводить одно из другого, так все дальше и дальше уходят от действительности и остаются висеть в воздухе. Поэтому все его рассуждения о соединении Церквей, о роли России, Польши и Еврейства ужасно ложные![36]Отдельные остроумные мысли как перлы везде рассыпаны. — Как меня зажгла эта вещь и органически как-то приобщила к работе. Опять

я приобрела мой refuge — радуюсь этому ужасно. Пишите, пожалуйста, как идет Ваша работа? Ответьте на мои письма, что Вы думаете обо всем этом. Преданная Вам М. Морозова.

13. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[17 июня 1909 г. Бегичево. В St-Blasien.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Мое последнее письмо — почти полный ответ на Ваше; Соловьев к концу жизни бросил теократию; в предисловии к переводу Платона он прямо говорит, что должен был отказаться от любимой мечты[37]. Почему? Он убедился, что соединение Церквей может привести к Царствию Божию на небе, а никак не на земле; в “Трех разговорах” оно происходит в пустыне, между горстью христиан разных исповеданий; никакого *внешнего*могущества теократии в результате не наступает, а, напротив, — сразу настает конец мира. “Теократия” — остаток панславистской мечты о внешнем величии России; в “Трех разговорах” С<оловьев> приходит к заключению, что скорее внешнее унижение может побудить Россию исполнить свое внутреннее назначение. По-видимому, и Вы так думаете; я — так же. Только вражда Чаадаева против “гомеризма” и его пристрастие к Индии мне непонятны и чужды; не понимаю, почему это Вам нравится: ведь Греция и гомеризм — олицетворение жизнерадостности, а Индия — нездорового, враждебного жизни аскетизма.

У нас по-прежнему за исключением немногих сравнительно редких дней — почти беспрерывный потоп. В церквах молятся о появлении солнца и прекращении дождя. Не скажу, чтобы это было мне полезно. Мое здоровье весьма неважно и отъезд за границу вдвоем весьма вероятен, тем более что в доме очень сыро, что никому не полезно. Большая часть прогулок совершается в непромокаемых плащах и высоких сапогах.

Ну, прощайте, дорогая Маргарита Кирилловна, крепко целую Вашу руку. Ваш Кн. Е. Т.

14. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[18 июня 1909 г. St.-Blasien. В Бегичево.]

18e июня

Имение наконец куплено — я радуюсь ужасно![38]

Дорогой Евгений Николаевич. Спасибо за письмо! Ужасно обрадовалась всему тому, что Вы высказываете о теократии. У Вас так хорошо и ясно выражено то, что мне хотелось Вам сказать в моем предпоследнем письме. Конечно, это совершенно верно, что земля не удерживает Христа, если она и принимает его

временами, и никакой такой строй, где бы Христос жил и властвовал, — невозможен! А если и наступит такое время, когда зло будет преодолено, то *эта* жизнь кончится! Вот какая мысль мне очень нравится, это что соединение церквей должно произойти где-то в пустыне, в лице немногих верных, как Вы говорите! Это действительно верно и так будет! И эти верные, как апостолы, начнут действовать, в корне перевернут направление мысли, перестроят образование и воспитание. С этого надо начать, а внешнее явится как результат. Надо *сделать других* людей! Я удивляюсь, право, как это все русские философы утверждают, что Россия должна идти своим особенным путем, а сами в то же время пропитывают ее западными основами. Надо прежде всего определить индивидуальность России, найти ее путь, установить то, что ей свойственно. Как хорошо об этом говорит Чаадаев в письме к Сиркуру, к неизвестн<ой> и в последнем к Тургеневу[39]. Это поразительно, как много общего в направлении мысли Чаадаева с Соловьевым. У Ч<аадаева>, по-моему, ум глубже, чем у С<оловьева>, но он менее талантлив и красочен, чем С<оловьев>. Природа его беднее! Ведь “Вехи” это хотя отдаленная, но все-таки попытка встать на путь исканий: каков лик России? Слава Богу, я просто счастлива бываю, когда вижу эту книгу! Только бы не заглохла эта живая струя! Вот в Вашей статье о “Вехах” мне очень нравится полемическая часть, но заключение как-то пусто, слишком обща положительная сторона![40] Вот Ваша задача! Помните, я всегда мечтала о церкви, т. е. вот об этом соединении верных в пустыне. Все они должны сплотиться в одной любви, в одном желании — отдать себя на служение одному великому, *единственному* великому делу! Начать его из самой глубины жизни. Произвести внутренний переворот, своей любовью и живым словом зажигая души и обращая их к Богу! Не верю я, чтобы молодежь, которая ищет прекрасного и подвига, не пошла бы за ними! Только отсюда, только так надо идти, чтобы создать, подготовить будущее. Я тоже с Вами согласна, что наверное Россия сознает *вся* целиком свое религиозное назначение, когда ей на земле станет страшно! Но вот эти посвященные должны уже быть готовыми, сплоченными, чтобы в нужный момент сказать слово и указать путь, и не формальное слово сказать о нравственном долге и правовом порядке, а конкретно, делом показать, в чем должен воплотиться идеал, и притом в живом и близком Русскому народу образе. Это святая и глубокая задача! Не жаль отдать всю душу и всю жизнь за это! Теперь надо пользоваться этим моментом переоценки и глубокого брожения, тут-то и заложить прочно этот камень! Вы должны это сделать! Вот почему я так священно и с

таким страхом отношусь к этой Вашей работе! Не критикой только Соловьева она должна быть, нет, она должна быть теократическим делом. Вы должны сказать свое глубокое слово, указать путь! Если его не услышат теперь и не последуют ему, то пусть не это будет мерилом его правды! Если его и не признают, то оно все-таки не умрет, а всплывет и засияет в будущем! Его мерилом должен быть свой собственный внутренний суд! *Степень* любви, *степень* горения, *степень* страдания за мир! В этом никого не обманешь! Вот что должно быть мерилом! Нужно собрать все силы в самого себя, углубиться и работать без конца! Господи, как мне хочется, чтобы это было, чтобы в Вас горело все по-настоящему, упорным, глубоким, скрыто-внутренним огнем! Чтобы Вы сделались даже жестоки ко всему, что Вам мешает. И помните — здоровье нужно, нужно, чтобы хватило сил сказать свое слово, во всей полноте раскрыть всего себя, а потом и умереть хорошо! Лучше просиять, загореться, отдать всю душу и уйти, чем прозябать почтенным профессором. Ответьте непременно на все это, только хорошенько напишите! Верите ли Вы, чувствуете ли Вы себя вооруженным всеми духовными силами и есть ли у Вас твердое решение идти и отдать себя этому делу? Ответьте непременно! Ведь это единственная моя надежда еще из той сферы “оттуда”. — Ну довольно! Я коснулась моей любимой сферы и чувствую, что понеслась безудержно! Как Ваше здоровье? Его укрепление есть тоже дело теократическое, в виду общей цели. Здесь просто фабрикуют здоровье — я подобного ничего не видала. Нельзя не поздороветь! Кроме всех лишений я здесь лишена природы: никакого простора, никакой жизнерадостности — все стиснуто, угрюмо, черно — льют дожди. Занимаюсь я много, играю много! Кончаю Теократию, которая мне не нравится. Завтра начну читать письма о христианской жизни Еписк<опа> Феофана[41]. А потом буду читать “Критику отвлеч<енных> начал”. “La Russie et l’Eglise Universelle” выписала уже. Напишите на всякий случай, какое это издание. Потом, как называется книжка Amedee Thiery? Пишите скорее и не ленитесь подробнее ответить на вопросы.

Ваша М. М.

15. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[25 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

25 Июня

Дорогая Маргарита Кирилловна

Прежде всего о моих занятиях Соловьевым. Ведь эти занятия едва начались, а я уже чувствую, что они много мне дали: опять что-то загорелось, и вылилась из-под пера одна большая статья

“Патриотизм и национализм”[42], в которой Вы увидите, что что-то зажглось. По тому, как льется, я чувствую, что горит; надеюсь, что будет разгораться; но на Ваш вопрос, чувствую ли я себя во всеоружии, я скажу — “еще нет”. Ведь это “всеоружие” — не начало, а венец дела, которому я хочу служить. Могу только свидетельствовать о моей решимости служить, а затем — что Бог даст! Только оставьте это выражение — “теократическое дело”. Я верю в Божье дело и в Божье царство; а “теократия” — только человеческая фальсификация; такой порядок, где Бог только ограничивает и сдерживает зло, прибегая для того к светскому мечу, — не есть еще Божье царство; Бог может царствовать только *извнутри,* а не извне. Я думаю, что внешней теократии на свете в смысле действительного Боговластия нет и не будет, потому что в деле спасения она была бы тормозом; человечество на ней успокоилось бы, что было бы концом христианского прогресса. Вообще где Божье царство, там зло уже побеждено; оно ни в коем случае не может быть только *внешним* порядком. Поэтому теократия, в которой внешний первосвященник и царь правят над людьми независимо от их вероисповедания, убеждения и воли, — сущая нелепость с христианской точки зрения; если христианство требует совершенно свободного единения людей со Христом, то принудительная теократическая власть с государственными полномочиями ему, по существу, противна.

Вы спрашиваете о моем здоровье; оно недурно, и я чувствую себя бодрым; но все-таки еще нет коренного излечения; и вот почему мы 30го Июня трогаемся в путь, чтобы 2гочисла быть в Берлине. Не знаю, куда пошлет нас берлинский доктор; нам московский усиленно рекомендует Neuenahr (недалеко от Кёльна).

Соловьева La Russie et l’Eglise Universelle. Paris, Albert Savine, editeur. 1889.

Тьери наиболее интересные вещи:

1) St. Jean Chrisostome [et l’imperatrice Eudoxie]

2) Nestorius et Entyches[43].

Прощайте, целую Вашу руку. Моя жена Вас целует.

Ваш кн. Е. Трубецкой.

Милая и дорогая, Вы не поверите, как сильно действуют на меня Ваши призывы и как дорого мне участие Ваше в моей работе. Ах, как бы хотелось увидеться.

16. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Между 25 и 30 июня 1909 г. Бегичево. В St.-Blasien.]

Пишите: Berlin, Hotel Continental

Дорогая Маргарита Кирилловна

Теперь наш отъезд в Берлин окончательно решен; мы выедем из Москвы 30го Июня, а там — куда пошлет берлинский доктор. Это не означает плохого состояния моего здоровья; но надо поступить в ремонт скорее в предупреждение худшего.

Получил Ваше письмо и открытку с рейнского водопада[44]. Относительно Соловьева Вы многое чувствуете верно. Схематизм и диалектическое построение хода всемирной истории, несмотря на замечательный блеск, — самая слабая и даже легкомысленная часть этой философии. Все эти построения к концу его жизни рухнули, как карточные домики. Посмотрите, что от них осталось в "Трех разговорах". Не только нет речи о могущественной католической и русской империи, — но Россия — даже не самостоятельное государство: она — сначала под китайским игом, потом — под властью антихриста. Где же русско-польско-еврейская теократия?[45] Соединение церквей влечет за собой уже не политический переворот, а кончину мира.

Вообще та доля лжи, которую Вы в построениях Соловьева инстинктивно чувствуете, заключается именно в его идее теократии. Он считает государство *частью тела* Христова и требует, чтобы оно походило на церковь! Если довести эту мысль до конца, то получится нечто ужасное: такое государство должно исключать из себя всех иноверцев; нельзя же от неверующих мусульман и иных некатоликов требовать, чтобы они занимались осуществлением католической теократии. В результате — без деспотической власти и без инквизиции в самом средневековом смысле для осуществления такого государства не обойдешься. Соловьев этого не понимал, потому что он был, в сущности, слишком восточный неотмирный человек и большое дитя вместе с тем.

Что касается "материализма" в еврейском смысле, то в этом религиозном смысле — я также материалист; только не знаю — в этом ли смысле Вы называете себя материалисткой; во всяком случае, в Ваших цитатах из Соловьева нет ничего, под чем бы я не подписался.

Знаете ли Вы, в чем слабость Соловьева? Несомненно в Обломовщине. Гончаров прекрасно понял Обломова, потому что это — он сам; в Обломове — его собственная *бездеятельная,* созерцательная природа; но когда в противовес Обломову он попытался изобразить *деятельный,* практический характер, то вышел карикатурный, несимпатичный и совершенно неправдоподобный немец Штольц: таких не бывает.

Вот теократия Соловьева и напоминает мне этого *Штольца;* из черт, недостающих Обломову и России, не построишь ни идеального человека, ни идеального общества, а

только отвлеченную и нежизненную схему. Курьезно, что за изображение практического идеального христианства взялся самый непрактический человек, какой только существовал в нашей непракгической России[46]. Чтение Соловьева укрепляет в мысли, что России не суждено политическое величие: она будет велика тем, чем был велик Соловьев и прочие ее гении, — не внешним, а внутренним своим делом. Какой урок заключается в том, что *внешние* замыслы Соловьева рухнули? В религиозном творчестве мы можем достигнуть великого; а в политике — дай нам Бог хотя бы сносного.

Теократия, в сущности, — попытки влить вино новое (Царствие Божие) в ветхую форму государства. Неудивительно, что вино разорвало мехи; и так как мы, русские, — по самой нашей природе — любители нового вина, то "мехи", по всей вероятности, всегда у нас будут дырявые. Немцы на этом основании всегда будут считать себя высшей расой: у них такого вина нет, зато мехи — превосходны. Поеду в Германию и, поскольку питье вод не помешает, посмотрю, каково у них и то и другое.

Крепко целую Вашу руку.

Ваш Кн. Е. Трубецкой.

17. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[27 июня 1909 г. St.-Blasien. В Берлин.][47]

10e июля

Дорогой Евгений Николаевич! Надеюсь, Вы хорошо доехали и здоровы! Большое спасибо за два последних письма — очень им обрадовалась. Очень счастлива, что Вы решили собой заняться и приехали сюда. С каким доктором Вы будете здесь советоваться? Напишите мне подробно обо всем, что он Вам скажет, куда пошлет, поскорее напишите! Вот хорошо бы, если бы он Вам велел ехать в St.-Blasien, но вряд ли! У нас погода адская, ни одного солнечного дня без ливня! Я помню, что каждый год, когда мы жили в Тверск<ой> губ<ернии>[48], мы тоже думали, что там особенно дождливо, т<ак> ч<то> это не в одной Калуге. Но, оказывается, и здесь то же самое! Так что я лишена и наслаждения природой! В прошлом письме я забыла Вам написать, что я прочла у Соловьева, что "Когэн" значит по-еврейски *поставленный,* помазанник, поставленный для особого назначения(49). Это очень мне понравилось — уж не посланник ли это антихриста, чтобы затуманить умы и отвлечь?[50] Вы как-то очень несимпатично отнеслись к очень мне понравившейся у Чаадаева (да и всегда меня этот вопрос очень интересует) мысли о влиянии Индийск<ой> философии. Действительно, отношение

Ч<аадаева> к Греции не глубокое, и в этом он не прав. Что же может быть, в человеческом смысле, прекраснее и радостнее Греческ<ого> искусства и вообще всего! Этого Ч<аадаев> не мог почувствовать по холодности и безжизненности своей природы. Но ведь дело не в этом, я думаю, а в том, что весь этот греческий рационализм хотя и обучает мыслить, но никогда не направит мысль на религиозный путь и не даст раскрыться мистическим сторонам души, а без этого какой же возможен переворот! А тем более в России к<а>к более родственной Востоку. Да и каким же образом возможно реально представить соединение Вост<ока> и Запада к<а>к не этим внутренним путем: взяв форму у Запада, а содержание у Востока. Именно его мистический внутренний мир. Я очень радуюсь, что в “Критике отвлеченн<ых> начал” затронут вопрос о мистическ<ом> восприятии к<а>к основе знания[51]. Этот вопрос меня очень интересует. Что Вы об этом думаете? Ответьте непременно хорошенько! Конечно, не отношение к миру меня интересует в Индии. Все, что Вы пишете о Теократии, — мне очень, очень нравится! Ну пишите скорее, теперь письма будут идти один день — ведь до Фрейбурга(52) одна ночь от Берлина!

До свиданья Очень хороши публицистические надеюсь. статьи Солов<ьева>.

18. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[3 июля 1909 г. Берлин. В St.-Blasien.]

Милая и дорогая

Нас посылают в Neuenahr, причем мое состояние не вызывает опасений.

Получил Ваше письмо; наскоро отвечаю, так как тороплюсь. Как Вы еще меня мало знаете! Если бы не это письмо, я просто бы приехал в St.-Blasien. Но теперь мне хочется, чтобы в моем приезде были и Вы немного соучастницей. Ведь приходится мне думать не только о себе, но и о Вас, моя дорогая. Если я приеду к Вам на один день, будет ли это в теперешнем настроении Вам полезно или вредно? Будет ли *после* хуже или лучше, решайте сами. Я же, конечно, жажду Вас видеть. Если это не вредно, пишите просто, чтобы я приезжал, без комментариев. А мне ужасно как хочется Вас видеть и прогнать это Ваше настроение, коему не должно быть места.

Только не торопите меня. К нам в Neuenahr приедет старая воспитательница моей жены; только тогда я могу уехать; до тех пор потерпите. Ведь, право, раз Вы будете знать, что мы увидимся, Вам будет лучше. Бросьте Вы наконец это нелепое, вредное и никому не нужное настроение. Как мне нужна Ваша

радость жизни. Крепко, крепко целую Вашу руку. Пишите Neuenahr, post-lagemd (это рядом с Кёльном).

Это письмо — *секретное*. Если ответ будет официальный, то фраза — "очень буду рада Вас видеть" будет значить, что мой приезд Вы не считаете вредным. Вы же сами *пока*не ездите. Я воспользуюсь одним днем промежутка в лечении.

Еще раз крепко целую руку

Ваш Е. Т.

19. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Первые числа июля. St.-Blasien. В Neuenahr.]

Дорогой Евгений Николаевич! Я так и знала, что Вас пошлют в этот Neuenahr. Мои мечты о St.-Blasien разлетелись. Ну что же делать! Дай Бог, чтобы Вам лечение принесло пользу и окончательно поправило бы. Надеюсь, что и Вере Александровне будет полезно это пребывание. Я все-таки не теряю надежды, что, если будет возможно, Вы приедете к нам, дорогой Евгений Николаевич, Вы знаете, как я была бы Вам рада. Конечно, если только это будет возможно. От Вас до Freiburg всего 9 ч<асов> езды — т<ак> ч<то> Вы потеряете только один день. И мне очень хотелось бы приехать к Вам перед отъездом в Биарриц, который, вероятно, состоится через три недели, т. к. мой сын возвращается туда морем из Англии и мы должны с ним съехаться в Биаррице. В Биаррице я думаю пробыть около месяца и вернуться в Москву к 1му сентября. Я конечно не дождусь этого времени! Так я соскучилась по всех и по всему! Потом в сентябре у меня будут новые хлопоты по устройству именья! Там уже начинается ремонт теперь и будет окончен к осени. Но нужно устроить парк и обдумать план постройки флигеля и служб, которых нет! Я счастлива, что будущее лето я буду жить *дома!* Дети тоже очень рады — это был очень радостный день здесь, когда мы получили телеграмму, что именье куплено! — Сейчас читаю "La Russie et l'Eglise Universelle" Соловьева. Третья книга очень интересна, есть глава удивительно красивая и увлекательная! Вы недовольны моим выраженьем "теократическое дело" — а я все-таки решаюсь на нем настаивать, т. к. не знаю лучшего выражения для определения дела именно в этом смысле и определенно задающемся этой целью. Я так всегда думала о "Еженедельнике" — что это теократическое дело! Тут вовсе нет теократии как строя достигнутого, но теократия к<а>к идеал должна нами руководить! Должны же мы *строить*жизнь, преследуя известную цель, идя известным путем к Царствию Божию. Ну, а как Вы называете то дело, которое идет к этой цели, преследует и раскрывает ее? Это конечно религиозное дело, но

это как-то неопределенно. И Соловьев в Теократии употребляет это выражение, разбирая ист<орию> Ветх<ого> завета. О теократии как строе и о соединении церквей я согласна вполне с Вашими мыслями. Но о теократии к<а>к в идеале земного устройства — можно думать и иначе, и о деле, имеющем вполне определенный религиозный смысл и цель, хотя и могущий проявляться во всех областях жизни, можно думать к<а>к о теократическ<ом> деле. Как Вы думаете?

Сердечно преданная М. М. Пишите!

20. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[5 или 6 июля 1909 г. St-Blasien. В Neuenahr.]

Милый и дорогой Евгений Николаевич. Пишу два слова — тороплюсь. Я получила сейчас от Веры Алекс<андровны> постальку. Пожалуйста, *ни за что* не ездите в Freib<uig>, если В. А. останется одна![53] *Для меня* это будет очень неприятно и испортит мне всю радость Вас видеть! Конечно, я была бы очень счастлива, если бы Вы могли приехать, но при таких условиях удовольствия для меня никакого не будет! Уверяю Вас. Целуйте от меня Веру Александровну и поблагодарите за письмо и подробности о Вас. Только от нее я всегда что-нибудь знаю толковое. Вы же пишете крайне бестолково. Слава Богу, что доктор нашел все хорошим, но смотрите, берегите себя!

Ваша М. М.

21. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[5 июля 1909 г. St.-Blasien. Neuenahr. Конверт и бланк: Kuz-Hote Bad Neuenahr.][54]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Вместо того чтобы самому приехать, я Вас приглашаю приехать сюда, и вот почему.

Доктор строжайше запретил отлучаться более чем на 1/2 дня; ставит это условием выздоровления. Между тем, чтобы видеть Вас сутки, надо истратить на путешествие еще два дня.

Ужасная обида; но здесь, поверьте, мы все-таки будем видеться хорошо и наговоримся, тем более что Вы не стеснены сроками. Потом я могу еще проводить Вас до Кёльна или до Бонна; словом, увидимся как следует. Ах как хочется увидеть Вас. Только уж лучше приезжайте *поскорее!*

Можете ехать или по железной дороге, что *скорее* (1/2 суток), или по Рейну на пароходе (чудная прогулка). Так приезжайте же, милая, дорогая, хорошая, и будьте радостны. Крепко целую Ваши руки. Известите телеграммой, так как комнату надо припасти заранее. Еще раз целую ручки

Ваш Е. Т.

22. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[6 или 7 июля 1909 г. St.-Blasien. В Neuenahr.]

Дорогой Евгений Николаевич! Я уже Вам телеграфировала, что собираюсь приехать в пятницу. Поезд приходит в Remagen в 5 ч<асов> 34 м<инуты> вечера, в Neuenahr — не знаю точно когда. Очень радуюсь Вас видеть. Конечно, Вам не следует нарушать лечения и уезжать сюда, в St.-Blasien, хотя я об этом очень грущу! Но я настолько всегда думаю о Вашем здоровии, что даже с этим примиряюсь. Не такая уж я эгоистка, в самом деле. Получили ли Вы мои два письма на *p o s t e r e s t a n t e*. *Я* пришла к убеждению, что Вам не стоит писать. Вы *ужасно* отвечаете на письма, т. е. просто *ничего* не отвечаете! Вообще я с Вами буду браниться и хотела бы хорошенько, но *только* из-за Веры Александровны немного себя сдержу! Боюсь, что она на меня рассердится! Ну, до свиданья!

Преданная Вам

М. Морозова.

Телеграфируйте, могу ли я приехать в пятницу? Может быть, другой день Вам удобнее? Но телеграфируйте, т. к. я должна заказывать себе automobile. Ах да, возьмите мне комнату, если можно, то с salon и уборной, а если нет, то все равно.

23. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Neuenahr. В St.-Blasien. Принята 21 (8 ст. ст.) июля.]

Arrive preferable samedi telegraphiez Neuenahr villa Humbolt si pouvez.

24. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[16 июля 1909 г. Neuenahr. В St.-Blasien.]

16 Июля, здание почты, Нейнар

Милая моя, дорогая, душка, красавица и красота поднебесная

Все что у меня есть горячих, нежных, ласковых слов — все это твое, мое сокровище. Сейчас написал тебе из виллы Humbolt в *зеленом* конверте; а теперь пишу с почты в *голубом,* понимаешь, мой ангел, моя родная, моя любимая!

Вот уже второй день как ты уехала, и все еще не прекращается воодушевление, радостный подъем, как будто ты еще тут со мною, а не за тридевять земель. Ах Боже мой, какой ты источник радости; и как это бесконечно хорошо, что эта радость — ничем не подорвана, — ничем решительно таким, что бы омрачало душу и мешало бы нам обоим прямо глядеть в глаза и

Верочке и всему свету.

Маргоша моя дорогая, какой ты источник радости, радужная моя. Не унывай же и в отсутствии радуй меня известиями о твоем бодром, хорошем настроении. Помни, что ты всегда со мной, всегда живешь *в м о е м в о с т о р г е,* и пусть будет тебе так же море по колено, как и мне.

Ты бодрость в меня влила, ты меня воодушевила; радуйся *этому,* а не тогда, когда я унываю и грущу по тебе. Не могу я унывать сейчас, потому что еще уношусь в восторге, потому что всеми фибрами души чувствую тебя, что ты со мной, моя глупенькая, мой ангел.

Сейчас буду купаться, потом пойду домой и займусь Соловьевым. А теперь крепко, крепко целую тебя, как люблю, и подымаю тебя высоко, высоко, над головой, моя родная. Хочу кружиться с тобою в облаках и радоваться.

Твой жаворонок
(Tubario)[55]

25. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[17 июля 1909 г. Из St-Blasien в Neuenahr.]

17го июля

Дорогой и милый Евгений Николаевич! Как я обрадовалась, получив Ваше письмо сейчас! Спасибо, что вспомнили день моих именин, он от этого стал еще веселее, конечно![56] Вы не можете себе представить, с какой светлой и обновленной душой я вернулась из Neuenahr! Полной грудью и в глубину души я вдохнула свет и тепло! Благодарю Вас всем сердцем, что Вы меня позвали. Набравшись бодрости, я надеюсь теперь менее мрачно переносить свое одиночество! Во вторник ночью мы будем в Париже, Hotel Chatham, и останемся до пятницы или субботы вечера. Напишите туда, пожалуйста. В Биаррице мы остановимся и будем жить в Hotel Victoria — это выяснилось, т. к. с виллой дело расстроилось. — Я ужасно смеялась, что Вы “хватили” Мазельвейна[57]. Хотя Вы и действительно ein Mann, der alles Kann, но все-таки, пожалуйста, будьте осторожны. Маруське я передала Ваш привет и поцелуй, и она велела Вас целовать “много, много, много раз, девятнадцать, семнадцать и еще прибавить семнадцать раз, приезжайте к нам сюда, сюда, милый, дорогой ангелочек”. Это буквально ее слова. Я их несколько сократила даже. Но особенно она требовала, и Мика тоже, чтобы я написала дорогой ангелочек! Ей очень хочется скорее послушать Ваше хрюканье. Я буду очень рада, если Вы поедете в Байрейт и послушаете там эту чудную музыку![58] Напишите мне подробнее о лечении. Помогают ли Вам воды, есть ли улучшение

и как действуют на Вас ванны? Напишите о работе, как она идет. Буду ждать письма в Париже. До свиданья, дорогой Евгений Николаевич, благодарю Вас без конца за все хорошее, светлое! Вы всегда так поддерживаете и обновляете мою душу, так я чувствую себя бодрой и полной энергии. Получила много писем по возвращении, и, между прочим, от Котляревского. Он, между прочим, пишет, что очень хорошая Ваша статья о “Вехах”, что в ней отразились “сильные стороны его духовной природы”[59]. Получила письмо от Лопатина. Он описывает свое житье-бытье очень типично. Он с Веней ведет беседы о философии, мирно гуляет и пишет, что они часто и много говорят обо мне[60]. Это меня обрадовало, и стало любопытно послушать эти разговоры! До свиданья, будьте здоровы.

Ваша М. Морозова.

26. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[18 июля 1909 г. Neuenahr. B St-Blasien.]

Милая моя, дорогая, радужная и хорошая

Пишу тебе как самому дорогому другу, который должен всякую заботу со мной делить.

После твоего отъезда мне было нелегко. Тут только я увидел, сколько боли и муки накопилось в другой милой душе.

Все это тщательно от меня скрывалось. Но, проснувшись глубокой ночью и услыхав тихие стоны, я понял, до чего она измучилась и исстрадалась.

Не от твоего приезда, — нет: это за целую зиму наполнялось, теперь же произошел кризис. Я увидал, что ее душа — словно открытый нерв, который терпит сильную боль от всякого неосторожного прикосновения. И боль углубляется “бережением меня” — боязнью ее выдать, чтобы меня не расстроить и тем не повредить моему здоровью.

Боже мой, какая тут глубина любви и жертвы, какая чистота и настоящая, героическая святость.

Но устала она до бесконечности и нуждается в бережении и помощи.

Маргоша, мой дорогой, мой милый друг. Как я рад, как я тебе благодарен за то, что ты это все понимаешь! Зимой часто будет нелегко! Но теперь и ты нам поможешь; ты все понимаешь своим горячим, пылким сердцем и твоею милой, женской чуткостью.

Видишь, мой дорогой друг, как откровенно и свободно я пишу тебе из Badenstadt’a. Не пеняй, если в Россия я — осторожнее. Кроме всех прочих опасений, я убежден, что наши письма перлюстрируются русской полицией(61). Зачем же ей выдавать мою и твою тайну.

А теперь, душа моя родная, крепко, крепко целую тебя и жду письма на имя Tubario. Обещаю уничтожить немедленно. А Badehaus — никакой опасности.

Еще раз целую крепко!

27. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20 июля 1909 г. Neuenahr. В Париж.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Большое спасибо Вам за письмо. Маруську и Мику многократно от меня поцелуйте и скажите, что я — в долгу перед ними. Весь зверинец изображу, когда увижу, еще пилу, молнию, фейерверк и прочее, что вспомню.

Очень рад окончательно принятому собственному решению — прослушать весь Ring в Байрейте. До сих пор я слушал отдельные оперы; но целиком все, да еще в таком чудном исполнении, приходится слышать в первый раз.

Чтобы Вы не говорили, что я оставляю Ваши вопросы без ответа, я нарочно сейчас перечел Ваше последнее письмо. Вопросов там два — о моем здоровье — оно превосходно. Исчезают некоторые болезненные явления, от которых я не мог отделаться годами.

Другой вопрос о моей работе. Начал писать, и пишется. Но тут Верочка меня бранит, зачем я пишу сейчас не сразу большую работу, а только этюд “Крушение теократии” у Соловьева[62]. На сие ответствую: этюд — составная часть работы, который составит одну из глав или разойдется по главам; но иначе я не могу теперь, потому что план *всей* большой работы пока у меня еще не сложился.

Вчера и сегодня утром тут было совсем тепло, солнечно, и мы совершили чудную прогулку в Altenahr[63]; но теперь опять серо, пасмурно и дождь; терпенья нет! Все-таки для отдыха лето необходимо, а его нет.

Очень рад и для себя и в особенности для Верочки приезду Fr. Kampfer, которая уже два дня с нами.

Крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Трубецкой.

28. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[20 июля 1909 г. Париж. В Neuenahr.]

Понедельник

Дорогой Евгений Николаевич! Только завтра утром мы уезжаем отсюда в Биарриц[64]. У меня заболел зуб, и пришлось его лечить. Здесь жара тропическая — очень тяжко после горного воздуха. Но несмотря на это, все-таки Париж всегда гарцует своей

красотой и поэзией. Особенно я люблю в нем эту легкость и какую-то дымку, которая его опутывает и делает все здания воздушными. Каждый квартал в нем своеобразен и прекрасен *своей*красотой.

Вчера были у обедни в Notre-Dame. Я, конечно, молилась за Вас и за всех Ваших, и особенно о том, чтобы Ваше лечение было вполне успешно. Это составляет предмет моих самых горячих желаний. Напишите подробно о Вашем лечении и самочувствии. Ужасно радуюсь, что Вы будете в милом Байрейте, хотя мне грустно, что я не могу послушать все вместе с Вами. Пожалуйста, вспомните обо мне, когда будете слушать некоторые места, особенно: I В Валькирии, дуэт *Зигмунда* и *Брунгильды* (Зиглинда лежит *спящая около).* В этом дуэте столько таинственной красоты. II В Зигфриде Waldweben, вся эта сцена. Еще дуэт Зигфр<ида> и Брунгильды. III В Gottardammerung момент смерти Зигфрида и марш. Непременно хорошо послушайте эти места, хотя Вы и знаете их. Когда слушаешь все подряд и в Байрейте, то отпадают все условные и подчас грубые стороны и выступает весь внутренний гениальный дух, вся волшебная и стихийная красота(65). Сколько в Вагнере дионисического, беспредельного, по-моему, сколько природы и земли и в какой красоте! Очень важно отдаться этой струе и оставаться глухим и слепым ко многому искусственному и немецки-безвкусному. Вы это оставьте, а напишите подробно о Вашем впечатлении и размышлении по существу. Очень буду ждать подробного письма об этом. Надеюсь, что оно не будет скептическим и что Вы переживете живое впечатление. Я себя чувствую очень хорошо и весело, рада, что завтра мы будем у океана. Целую Веру Александровну и жду письма.

Ваша М. М.

29. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[25 июля 1909 г. Биарриц. В Neuenahr.]

Четверг 12го

Дорогой и милый Евгений Николаевич! Спасибо за карточку, получила ее по приезде. *Ужасно радуюсь,* что Вы в хорошем расположении духа и, главное, довольны результатом лечения. Вы прекрасно сделали, что поехали за границу. Путешествие хотя иногда и тягостно, но обновляет и освежает. Слава Богу, что Neuenahr оказался таким благотворным для Вас. Видите, что и работалось Вам хорошо! Все это прекрасно! Поездка в Bayreuth, я надеюсь, довершит благоприятное впечатление и даст большой внутренний подъем. Я здесь, в Biarriz, думаю основательно поправиться на воздухе, который тут удивительный. Половину дня буду лежать у моря на песке, с книжкой. Сегодня прочла “Три

речи о Достоевск< ом> “(66) и в восторге. Сколько удивительных, чудных мыслей. Непременно хочется с Вами прочесть и некоторые места, особенно замечательные, по-моему. Нельзя не любить Соловьева самой *живой* любовью. К нему относишься не как к писателю, а как к самому близкому, дорогому другу и учителю. Вот в области музыки первым и самым близким был для меня прежде Вагнер и долго царил один, пока я не добралась до Бетховена. Так душа постоянно открывает мир. Последние года мне в Вагнере много стало недоставать. Скрябин мне этого не прощает, говорит, что я пошла назад тем, что ставлю Бетховена выше Вагнера[67]. Но одним Бетховеном без Вагнера не могу жить, одно пополняет другое. А вот из писателей никого так нельзя полюбить, как Соловьева! Я понимаю, что Вы хотите сначала отдельно остановиться на главных темах у Соловьева. Необходимо выработать не только свой критический взгляд, но и выйти за пределы Соловьева, ступить шаг вперед. А для этого надо очень глубоко продумать каждый из основных вопросов в отдельности, чтобы потом прийти к окончательному выводу и завершению. В этой задаче такие богатство и глубина, так радостно над ней работать. Я в восторге, что Вы чувствуете, что дело идет. Слава Богу! Только Вы и можете сделать это. Жду с нетерпением письма из Bayreuth! Очень буду радоваться, если ничто не помешает Вам насладиться им вполне. Самая жизнь в Bayreuth’е мне ужасно нравится, так уютно и есть единение[68]. Все живут одним! Ну, до свидания!

30. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[31 июля 1909 г. Neuenahr. В Биарриц.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Пишу Вам несколько слов нарочно *перед* Байрейтом, чтобы сказать Вам, что *скептического* отношения к Вагнеровской музыке у меня нет и о Байрейте я думаю как о празднике для себя. Весь Ring я уже давно слушал в разных городах Германии и Австрии. Вы говорите, чтобы я обратил внимание на дуэт Зигмунда и Валькирии и на смерть Зигфрида; да это вещи, которые я давно и безумно люблю, а Trauersmarsch могу, закрыв глаза, прослушать наизусть. Что касается “Дионисиевой волны”, то хоть в жизни она меня не уносит, но в опере вызывает во мне большой подъем, *когда она разбивается у меня под ногами:* так ей и полагается. В жизни она нужна не для того, чтобы люди загорались Дионисиевым огнем, а для того, чтобы *по контрасту и в борьбе с ним зажигался другой, подлинно Божий огонь.*

Пишу Вам в самый день отъезда. Осталось выпить всего два стакана, чтобы кончить лечение. Хотя с корнем еще не вырвана

болезнь, которая была у меня лет 20, все-таки за эти двадцать лет я не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Считаю, что этот результат превосходен. Много наработал о Соловьеве: если считать размер “Вопросов Философии”, то этюд вышел равен статье о Когене[69]; но это только подготовительный этюд: печатать я его пока не намерен: пусть хоть обозначится целое.

В № от 8 Августа “Еженедельника” пойдет моя статья “Подъем конституционного курса”, — обратите внимание. Написано с огнем, — не с дионисиевым, а сортом выше, и вылилось.

Крепко целую Вашу руку

Ваш Е.Трубецкой.

Верочка Вас крепко целует.

31. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[1 августа 1909 г. Байрейт. В Биарриц. Конверт и бумага: Fritz Ribenstahl. Вь го und Weinhandlung. Prinze Albrechtstrasse, 5.]

Ура! Милая моя

Слово “ура” относится не к Байрейту, где я еще ничего не слыхал и не видал кроме обдирального ресторана, из которого я пишу, а единственно к тебе и твоему письму, полученному здесь. Ты не можешь себе представить, какую радость оно мне доставило и какую родную душу я в тебе ощутил — именно в том, что ты начинаешь любить Бетховена *больше* Вагнера и что он восполняет тебе его недостаток.

Люблю я и Вагнера ужасно; но все-таки в этом признании — все мое, что есть в тебе, — огромный шаг *вперед* от Скрябина, который, съедаемый Дионисием, катится в бездну и перестает понимать безусловную красоту.

А ты, моя дорогая, уже имеешь прочный, высший этаж над Дионисием. Так-то, мне проповедуешь Дионисия, а декадентам — моего Бетховена.

Весь Вагнер в нем есть, в той *буре,* которая предшествует молитве, в самой сонате apassionato, которую ты играешь. Но есть и молитва — чудный надзвездный мир, где эта буря разрешается.

Дорогая моя, ведь в этом — вся моя жизнь с тобой за эти годы: чувствуешь ли ты это? А я! Как сильно, как крепко, как горячо я это чувствую, моя родная. Там — в этой надзвездной сфере ничего нас не разлучает; там мы живем вместе [одно слово нрзб] реальной и прекрасной жизнью. А все Скрябины с их Дионисиями кажутся жалкими и ничтожными. Ну прощай и *вперед* на этом пути, моя дорогая, ненаглядная и милая. Крепко, крепко тебя целую. До скорого свидания.

32. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[3 или 4 августа 1909 г. Байрейт. В Биарриц.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Пишу Вам, прослушав “Reingold” и “Walkь re” — в ожидании Зигфрида на сегодняшний день. Это не просто наслаждение музыкой и драмой, а *переживание* того и другого, тем более что другого делать нечего. С раннего утра — чтение либретто в пустынном Байрейтовском парке, потом обед, прогулка, сон среди дня с специальной целью — сохранить всю свою восприимчивость к моменту представления; потом — самое священнодействие.

С величайшей радостью я вижу и чувствую, что Вагнер для меня остается целым, несмотря на более сознательное и критическое к нему отношение. Войдя в Байрейтовский театр, я испытал то же радостное волнение, как 15 лет тому назад, и оно оправдалось, хотя прежде восторг мой был более слепой, а теперь я стал более зрячим.

Многое отрицательное разглядывает мой глаз, вижу я рутинную сторону творчества Вагнера — злоупотребление лейтмотивами, которые вовлекают его местами в шаблонность и формализм; чувствую страшные длинноты, отсюда происходящие; вижу несовершенства постановки, — даже отдельные доски на полу сцены; кстати, я горд тем, что в декоративном искусстве немцы не годятся в ученики Коровину и отстали от нашего Большого театра на 1/4 столетия по крайней мере![70]

Но как незначительны эти пятна на солнце в сравнении с самим солнцем, с огромной, захватывающей силой впечатления. Дай Бог сил, чтобы выдержать эту драму до конца, с неослабевающей восприимчивостью. И на философскую глубину этой музыкальной драмы у меня открываются глаза. Вся эта драма — сплошное искание искупителя, *героя,* который был бы свободен от греха мира богов и потому мог бы спасти этот мир. Но такого героя не находится: все создания Вотана подобны ему самому, — т. е. смертны. Тут вся драма самого Вагнера и смысл его искусства. Все оно — титанический порыв — возвыситься над дионисиевским началом, которое порождает лишь смертные создания, — найти мир бессмертный и нетленный. Эту задачу — найти нетленное — Вагнер впоследствии прямо и сознательно поставит себе в Парсивале; но тут он натолкнулся на границу своего гения. Парсиваль из зрелых созданий Вагнера несомненно — самое слабое: не чувствуется силы в этой победе над Дионисием: религиозность этой музыки — в самом деле немного постная; вот почему она оттолкнула Ницше.

Тут мне припоминается Ваше последнее письмо: Вы также ощутили *границу* Вагнера и поэтому полюбили Бетховена. Путь — совершенно правильный: именно у него подъем *в надзвездную*

высоту, который Вагнеру не по плечу. Поэтому именно у него можно найти исцеление от того безысходного пессимизма, который подтачивает творчество Вагнера. К чему приводит господство дионисиевского начала? Ко всеобщей жажде смерти, жажде конца. Все Вагнеровские герои, начиная с Вотана, мечтают умереть, — желают смерти не как перехода к лучшему — на это они не надеются, а как простого уничтожения.

А с этим сопоставьте шиллеровский тек<с>т к 9 симфонии Бетховена:

“Ниц падите все преграды,
Обнимитесь, миллионы”.

К Бетховену от Вагнера Вас ведет правильное чутье *смысла жизни,* — того самого, что недостает Скрябину и комп.

Наиболее насладительные для меня места: в “Золоте Рейна” дивный стихийный пролог, жалобы и стоны дочерей Рейна, дивный конец с радугой; в Валькирии весь 1й акт, особенно рассказанная в музыке история любви Зигм<унда> и Зиглинды, сражение героев, предсмертная беседа Зигмунда с Брюнгильдой, полет Валькирий и Feuerzauber.

Зигфрида до сегодня я любил меньше всех опер “кольца”; посмотрим, что будет сегодня.

Ну, прощайте, крепко целую Вашу руку.

Ваш К. Е. Т.

33. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Пятн<ица> 20го авг<уста>

Дорогой Евгений Николаевич. Ужасно удивилась Вашему письму еще из Neuenahr, что это Вы там на меня наклеветали? Я ничего подобного Вам не писала. Ни о какой “Дионисьевой волне и огне” я не думала и тем менее хотела это проповедовать. Вы, наверное, не прочли моего письма, а теперь уж его разорвали, потому считаю необходимым повторить вкратце то, что я писала. Я употребила выражение “дионисический, беспредельный, природа и земля”, характеризуя сущность Вагнера, как я ее себе представляю. Мне кажется, что это начало в нас основное, хотя он как гений прозревал *умом* в другое и хотел его достигнуть. Дионисическое в Вагнере является, по-моему, как самое прекрасное, мировое, объективное, и отнюдь не в пошло-декадентском, субъективном смысле. Уверяю Вас, что “дионисическое” экстаза Скрябина разбивается у *моих* ног, и действительно так ему и нужно, и *его я* буду слушать только в опере. Но дионисическое-стихийное Вагнера как объективное начало хотя, может быть, и не исчерпывает моей души, но

составляет очень, очень большую глубокую красоту жизни, больше, чем красоту только. Я его представляю в духе религиозного материализма, помните, что Соловьев говорил о иудейском[71]. Это очень глубокое, прекрасное, жизненное и мистическое. Скорее, я думаю, тот не полный человек, кто этого в себя не включает. Вопрос другой, исчерпывает ли это всю сущность души или она сумеет взять крест и через него подняться над земным. Чего, говорит Соловьев, не поняли иудеи, чего *не мог, хотя понял,* Вагнер в Парсифале. Может быть, я не так говорю, но Вы поймете, если захотите. Потом я говорила, что если отдаться этой струе (т. е. внутренней сущности Вагнера), то не будешь замечать всей, иногда грубой, безвкусности, как музыкальной, так и художественной. Слушая весь Ring целиком в Байрейте — совсем особенно его переживаешь. Потом я переименовала некоторые мои любимые места, желая, чтобы Вы вспомнили *обо мне,* слушая их. Вот все, что я писала. Как раз Вы *все это* и пишете из Байрейта, но более полно, конечно. Вы умеете лучше и красивее выразить свою мысль. Пожалуйста, напишите два слова, что Вы берете все это назад, что Вы говорили или хотели сказать, а то я чувствую внутреннее препятствие говорить с Вами, нет подъема и доверия. Я отнеслась слишком горячо к тому, что Вы поедете в Байрейт, и к Вашему впечатлению от него. Никогда не надо относиться слишком горячо! Но это понятно, потому что мне очень дорого и свято воспоминание моих пелеринаже в Байрейте 7–8—9 лет тому назад. Сколько моя любовь к Вагнеру во мне пробудила, какой подъем сил для борьбы с жизнью мне дала, какой красотой ее осветила.

Это первый восторг, который я пережила в жизни. Это был толчок к освобождению. Все это *впервые* возникло во мне там через музыку и переживалось в полном одиночестве. Не может это воспоминание не быть дорогим для меня. До свиданья! Надеюсь, Вы здоровы и хорошо доехали. Крепко целую Веру Александровну. Здесь чудесно, погода дивная. Я чувствую себя прекрасно.

Ваша М. М.

34. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[8 августа 1909 г. Бегичево. В Биарриц.]

Бегичево 8 Августа

Дорогая Маргарита Кирилловна

Трудно представить то состояние восторга и подъема, в котором я вернулся домой после Байрейта. Я превратился в какой-то музыкальный термос: все вагнеровские мотивы довез с собой в деревню в том виде и в той температуре, какую они

имели в Байрейте. День и ночь слышу музыку, различая голоса каждого отдельного инструмента: то рог Зигфрида, то мотив их любви с Брюнгильдой, то трауерсмарш, то трио дочерей Рейна: все вместе — одно сплошное волшебство. А вместе с тем лезет из души вся музыка, когда либо слышанная — до Фрейшютца[72] включительно: все это Вагнер задел, расшевелил и довел до кипения. И к здешней родной калужской красоте в связи с этим явилась какая-то необыкновенно повышенная восприимчивость. Родина встретила как настоящая мать: такого безоблачного неба никогда я здесь не видал; а теперь, когда я Вам пишу, — снопы света врываются в мой кабинет. И какой воздух, какой аромат! Запах сена, цветов, поспевающей ржи и еще чего-то! Целая симфония запахов и красок навстречу музыкальной симфонии. А все вместе создает в душе ту легкость, какая ощущается во сне, когда летаешь по комнатам! Знаете эти сны, когда тело теряет тяжесть и можно оставаться неподвижным на любой высоте или плавать в воздухе!

Все это — несмотря на массу весьма отрицательных впечатлений родины: грабящие чиновники, ворующие студенты и литераторы. Все воруют. Ваш Эллис изобличен в вырезывании страниц из книг Румянцевского Музея![73] Но все это у меня остается как-то на поверхности и не затрагивает центра души: в ней есть достаточный всему этому противовес.

Ну, пора за Соловьева. Прощайте, крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Т.

35. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 августа 1909 г. Бегичево. В Биарриц.]

14 Августа

Дорогая Маргарита Кирилловна

Очень был рад наконец получить Ваше письмо. Оно странствовало неделю и пришло только сегодня. Не понимаю, за что Вы обиделись и что, собственно, мне следует брать назад? Если я высказал мой взгляд на Дионисиеву волну, то из этого не следует, чтобы Вы ее проповедовали. Возможно, что в моем письме был легкий оттенок дразнения по отношению к “Вашему” Дионисию: в разговорах это бывает. Не помню, было ли в письме. Но ведь с тех пор, пожалуй, я писал Вам и другое по поводу Бетховена, где выражал большую радость тому, что Вы вышли за пределы Вагнера и совершили полную духовную эмансипацию от Скрябина и скрябинства. Так что — за что же, собственно, меня бранить?

Я не узнаю нашей местности. С самого приезда стоят прямо золотые, очаровательные дни. Знаменитый “прешпект” настолько

просох, что по большей части его можно ездить на велосипеде; в тени 21–23 градуса. А краски — что-то необычайное. Осеннего еще мало: только небольшие желтые пятна в березках и краснота в диком винограде; прочее — яркий изумруд, коего тут целое море, в особенности на скошенных клеверных лугах.

Настроение хорошее; одно только жаль — много мешают заниматься, и мешает то самое, что я — в России — дома. Вдруг вызывают в Калугу на целый день — выбирать члена государств<енного> Совета от земства[74]. Потом — маневры у меня в имении: я принимал офицеров с целым полком [?] с музыкой. Было забавно и весело; потом была канонада. Потом приехал home d'affaires, которого я принимаю теперь по делам именья.

Словом, хоть и лучше дома и насладительно, но заниматься в скучном Neuenahr'е я как-то больше поспевал.

Одно слава Богу — все здоровы. Я чувствую себя сильно поправившимся и очень бодрым. Какая-то физическая легкость и неутомимость. Что это — чудный здешний воздух, результаты Нейнара или то и другое вместе? Очень рад, что Вы и дети поправляетесь. Ну прощайте же, Верочка Вас целует. Крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Т.

36. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[15 августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Дорогой Евгений Николаевич! Спасибо за письмо из деревни. Как я рада, что Вагнер так Вас воодушевил и Вы ощущаете такой подъем. Конечно, нужно скорее этим пользоваться и писать. Именно о Соловьеве писать особенно хорошо в таком подъеме. Он соединяет в себе оба мира, и поэтому от Вагнера к нему протягивается нить и многое разрешается. Хотя мир земной Соловьев понимал более созерцательно и не воплощал его в такой силе и солнечной красоте, как Вагнер, но зато нет у Вагнера таких крыльев, такого воздушного полета в небеса, как у Соловьева. Вы верно говорите, что вся философия Ring'а есть искание Искупителя, героя и спасения. Это отражение драмы всего человечества и правда глубоко потрясает. Много мыслей и чувств навевает Вагнер, а главное, подымает силы как никто. Какой в нем огромный, именно титанический, призыв к борьбе и к победе. — Я очень много радостного и важного для себя переживаю, но говорить о себе не стану, т. к. Вы еще не разрешили моего внутреннего препятствия, о котором я Вам писала. Это время очень много читала, сейчас кончаю "Критику отвяченн<ых> нач<ал>". Очень большое удовлетворение дает

его “всеединство”, такая полнота, ширина и столько жизненной правды в его мыслях. По-моему, “Основание идеализма” Сергея Николаевича[75]совершенно то же самое, разве в некоторых деталях есть разница. В воскресенье, завтра, собираюсь с моими знакомыми в Lourdes, это очень интересно, а в следующее воскресенье 23ro авг<уста> мы уезжаем отсюда в Париж, Hotel Chatham, и в субботу 29ro я буду в Москве. Надеюсь, что Вы напишете сюда или в Париж. До свиданья, желаю Вам всего лучшего. Надеюсь, Вы здоровы? Сердечно Вам преданная

М. Морозова.

Я ужасно смеялась на “Ваш Эллис”, он вовсе не мой, я его терпеть не могу! Маруся сегодня опять Вас вспоминала и объявила: “я очень люблю этого, который свистит”.

37. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[20 августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Четверг

Дорогой Евгений Николаевич! Как я была рада сегодня получить Ваше письмо. Я уже начала тревожиться, что Вы не получили моего письма. Надеюсь, что Вы получили еще другое письмо и две открытки? Я не дождусь возвращения в Москву, считаю не только часы, но минуты. Ужасно радуюсь, что скоро Вас увижу, так хочется обо всем с Вами поговорить. Как хорошо, что у Вас такая хорошая погода, что Вы можете насладиться вдоволь деревней перед возвращением в Москву. Как я счастлива, что это последнее лето странствий для меня, что я буду наконец дома с будущего года. А я совсем серьезно на Вас обиделась за “Дионисиеву волну” и целую неделю не могла написать спокойного письма, а все выходило очень бурно, потому я рвала и не посылала. Конечно, будь это в Москве, я побранилась бы с Вами и на другой день забыла бы, а здесь, не имея возможности излить свою досаду, я прозлилась целую неделю. Т. к. мы теперь скоро увидимся, то я не буду распространяться обо всём, что я здесь прочла и передумала. Этот месяц я как-то с особенным воодушевлением читала и занималась. Особенно меня потрясла “Критика отвлеченных начал”. Пожалуйста, перечтите две последние главы 45–46, если Вы их не перечитывали теперь. Хотя Вы их и знаете, но пожалуйста, для меня перечтите. Как чудно, вдохновенно и пророчески все, что он говорит о *“великом таинственном искусстве — свободной теургии”*. По-моему, это *зерно, смысл всего* Соловьева, в этом скрещиваются наука, искусство, религия и, главное, жизнь. В этом весь Соловьев, вся его душа, вдохновение, прозрение в будущее и *указание пути!* Это замечательно! Давно я не испытывала такой радости, как читая

это. Перечитывала тоже многие Ваши статьи и в Еженед<ельнике> и другие и наслаждалась. Как Вы трудно пишете! Как много хорошего и радостного для себя я пережила опять, перечитывая их. Вообще много хорошего на свете, правда ведь? Надо только уметь всему этому радоваться всей душой и верить, и тогда легко! Ну, до скорого свидания.

Ваша М.

38. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[20-е числа августа 1909 г. Биарриц. В Бегичево.]

Дорогой Евгений Николаевич! Пишу Вам последнее письмо перед отъездом отсюда. Как я радуюсь возвращению в Россию, Вы не можете себе представить. Чувствую в себе избыток сил и рвусь к жизни и деятельности. Как хочется всех видеть! Как буду рада прийти в милую редакцию! Много думаю о Еженедель<нике>. В письмах к Сергею Андреевичу[76]старалась поддерживать его твердость в дальнейшем. Еженедельн<ик> должен продолжать это дело объединения и пробивать свою маленькую тропинку сквозь чащу и темный лес. Это верный путь! Надо продолжать твердо идти вперед и не бояться неудач! Ежен<едельник> сделает свое дело, и в свое время оно будет сознано! Ничего не пропадает. Никак нельзя разрушать такую бескорыстную, чистую и светлую почву — это так редко среди окружающего мрака и хаоса. Всему этому Вы положили начало, и Вами все это держится и направляется, дорогой Евгений Николаевич! Нужно, чтобы это не мешало Вашей другой работе, но, по-моему, не менее важно, чтобы Вы стояли стражем и под Вашими знаменами объединялось бы все лучшее! Это необходимо! Я вижу, как понемногу начинает пробиваться в сознании то, что Вы говорили *первый.* Вехи особенно это подтверждают. Это меня наполняет большой радостью. Теперь мне кажется необходимым, чтобы Вы издали сборник Ваших публицистических статей с начала освободит<ельного> движения. Пусть массы его не прочтут, но нужно, чтобы это вспомнили, сознали некоторые. Он даст наглядную картину Вашей твердости и правды(77). А это нужно и полезно сейчас. Ну до свиданья, очень рада, что до скорого. Сердечно преданная

М. Морозова.

39. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[22 августа 1909 г. Бегичево. В Берлин, Hotel Continental.]

Дорогая Маргарита Кирилловна

Это — мое последнее письмо; другое уже Вас не застанет. Пока пишу, дождь льет и наливает, а небо безнадежно сыро. Ну

что ж, я, слава Богу, набрался запасов солнца — и тепла и света; работа идет хорошо и служит источником постоянной интенсивной радости. Работается скоро, так что рассчитываю написать здесь вдвое больше, чем в Найнаре, и несомненно виден берег, т. е. если ничего не помешает, я вывезу отсюда законченную часть страниц в 100; но не в этом дело, а в том, что отношение мое к теократии проясняется для меня окончательно, — в воззрении на государство, на отношении его к религиозному идеалу исчезают темные пятна, раньше застилавшие поле зрения. В смысле самоопределения то, что дает мне эта работа, — огромно. Оттого велика и доставляемая ею внутренняя радость. Днем я уже не могу спать из-за нее — слишком велико возбуждение от этой работы.

Вагнер во мне начинает умолкать, хотя нынче ночью я все еще слышал увертюру к Reingold и Waldweben из Зигфрида; но все-таки чувствую, что что-то на всю жизнь во мне останется от этого паломничества в Байрейт, какой-то подъем, “призыв к борьбе и победе”, как Вы говорите.

Сам того не подозревая, оказал услугу Михаилу П. Поливанову. Он прислал мне окончание своей статьи об Ибсене, чувствуя, что я должен реагировать ввиду расхождения в религиозно-философских взглядах. Я с огорчением прочел нечто не то когенианское, не то вообще имманентистское и написал жестокую критику. В результате Поливанов взял статью назад, пишет, что я расшатал его философию, и благодарит[78]. Статья моя, таким образом, пропала для печати; но я этому рад, т. е. рад поводу ее пропажи. Уж очень больно смотреть, как ученики моего брата один за другим уходят в эту философию, которая *времяи* все *временное* возводит в абсолют.

Коген, Авенариус, Скрябин — все это вариации на одну и ту же тему — “смерть и время царят на земле”; вопреки Соловьеву они смерть и время “зовут владыками”[79]; ужасно мало теперь людей с крыльями, способных взлететь над временем. И эту свою неспособность выдают за философию! Мне хочется драться, когда я это вижу. Толпа всегда будет принимать их за учителей жизни, потому что они сами не выше ее и этим самым льстят ей; ей лестно признавать философами людей, которые ей по плечу и насквозь понятны благодаря своей философской вульгарности.

Покойный Аксаков говорил: “со всяким игом можно примириться, но иго глупости невыносимо”[80].

Верочка Вас целует. Ну прощайте. Крепко целую Вашу руку.

Ваш Е. Т.

40. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[22 декабря 1909 г. Москва. В Москву.]

Моя дорогая, родная и хорошая

Пишу тебе рано утром, пока никто не вставал, и пошлю так, что никто не узнает, — через массажиста. Вот уже третий день, что я лежу: повредил себе ногу гораздо серьезнее, чем предполагал: не только ходить не могу, но вчера еще едва мог ступить на ногу: возможно, что порваны связки.

О тебе имею известия через Елену Кирилловну[81], слава Богу, недурные; но тоскую ужасно без тебя. Поврежденье моей ноги также связано с тобой: я бежал стремглав в редакцию, чтобы там уединиться и оттуда написать тебе письмо, и растянулся на тротуаре так, что сам потом не мог подняться из-за подернутой ноги. Поднимал меня извозчик.

Хорошо еще, что это случилось, когда видеться мы все равно не можем. Лежанье предрасполагает к усердной работе над Соловьевым. Он двигается хорошо! Но больно, обидно и тоскливо тебя не видеть. Когда можно будет, извести, изменив почерк на конверте. Я к Рождеству надеюсь выходить, если массажист не обманывает.

Боборыкина в Среду секли вчетвером: я, Бердяев, Хвостов, Лопатин: он почти ничего не был в состоянии ответить. Высекли так больно, что среди речи Лопатина он ушел со скандалом, не дослушав. Подобного не было с основания Псих<ологического> Общества(82).

Ну прощай, моя радость ненаглядная, дорогое мое сокровище. Ах, как хочется тебя видеть. Целую крепко.

1910 год

41. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[13 января 1910 г. Москва. В Москву.]

Милая, дорогая, хорошая и горячо любимая

Завтра мы встретимся в первый раз после последнего тяжелого разговора. Я хочу, чтобы это письмо ты получила раньше. Два дня места себе не находил, был вконец угнетен и пришиблен… Гнетет всегда носящаяся в воздухе, а теперь как-то особенно сильно почувствованная возможность утраты — утраты самого близкого, дорогого и милого. Этот гнет — настоящий ад, и только теперь ночью я немного ожил: мне блеснули надеждой твои слова, что нет подвига, который ты не могла бы сделать ради меня, и что на все, на все можно тебя подвигнуть добрым и горячим словом.

И вот это горячее слово я тебе хочу сказать теперь. Милая, родная, — с утра до вечера я полон мыслью о тебе, с утра до вечера перебираю в своем уме, сколько дорогого, бесконечно милого грозит лишить меня судьба. Неужели все должно рухнуть, и наша с тобой умственная и духовная жизнь душа в душу, и это взаимное понимание, которого так много, и эта совместная деятельность в “Еженедельнике”. За что, почему, отчего? Неужели я должен себе сказать, что *личная* моя жизнь и личная радость кончены навсегда?

Я обращаюсь к тебе с мольбой, со слезами. Милая, родная, ради Бога, именем всего святого, береги ты наши отношения, не разбивай их, не разбивай мою и твою душу: *ведь это зависит от тебя.* Не требуй от меня того, что сделает меня ничтожным и гадким в моих глазах. И если ты услышишь мою мольбу, а я в тебя верю, бесконечно верю, то сделай так, чтобы по твоей улыбке, взгляду или по словам, если успеешь в редакции, я понял, что ты меня услышала не умом, а всей глубиной твоего сердца.

Ах как, ты мне нужна и дорога, как тяжело, уныло, мрачно и тоскливо без тебя. И как радостно с тобой.

42. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[12 апреля 1910 г. Ялта. В Москву.]

Понедельник 12 Апреля

Милая и дорогая

Пишу тебе с Ялтинской набережной в первую возможную минуту (приехал вчера вечером) и все-таки знаю, что до получения этого письма ты много раз успеешь вознегодовать за

то, что я будто бы не пишу.

Ужасно много передумал и перечувствовал я в дороге. Все то хорошее, волнительное, мучительное и прекрасное, что было за эти годы и месяцы, прошло передо мною. И на одном настроении я остановился с особою любовью, на том, что было, если я не ошибаюсь, во Вторник 6го Апреля вечером после редакции, когда все волнение вобралось куда-то внутрь и мы оба разом почувствовали блаженство и спокойствие.

Дорогой и милый друг, самое прекрасное в жизни — когда чувствуешь это непосредственное соприкосновение с нездешним. Самое радостное, хорошее и прекрасное у меня и у тебя связано именно с *этими* минутами. Почему? Потому, что мы оба чувствуем, что *это* не может умереть! Нет иной прочной связи кроме связи бессмертия: в иную я не верю. Когда же я ее чувствую и переживаю, сомнения отпадают; тревоге конец; тогда ничего не нарушает моей светлой радости быть с тобой. Ах родная моя, дай Бог и тебе и мне силу этой радости, чтобы ничто и никогда ее у нас не отнимало. Я говею; надеюсь, и ты. От всей души и сердца повторяю

Христос воскресе, моя милая, дорогая и родная[83].

43. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 апреля 1910 г. Ялта. В Москву.]

Ялта 14 Апреля 1910

Милая, дорогая и хорошая

Сначала мы приехали сюда словно в Архангельск: было серо и холодно, холоднее, чем в Москве.

А теперь! — Все одно сплошная лазурь: голубой океан и сверху и снизу: что-то голубое и огромное так и вливается в душу. Каштан цветет, соловей поет, Соловьев идет вперед, а в церкви поют: *ныне силы небесные с нами*[84].

Душа моя и радость! Чувствую я в себе мощный подъем этой голубой волны! Как бы я хотел, чтобы она перелилась и тебе в душу, без меры, без» границы, и всю тебя охватила! Боюсь, что ты в сумрачном настроении, думаю о тебе ежечасно, и хотелось бы тебя согреть всей нежной теплотой вечного, незаходящего солнца.

Дорогая моя! Обращаюсь к тебе с мольбою. *Удержи для меня, сохрани для меня эту лазурь.* Пойми ты, до какой степени это от тебя зависит. В твоей власти, чтобы ты приобщалась ко всему прекрасному, возвышенному и бескорыстному, что есть в моей душе. От тебя зависит разгонять облака и тучи, быть моей радугой, моей радостью. Чего тебе не хватает? *Сознания и чувства собственности? Да,* понимаю и чувствую это! Но как хотелось бы мне теперь в ответ на это показать тебе это море и это небо, на

которое я любуюсь из моего окна. Оно и мое, и твое, и миллионов других Божьих созданий, а вместе с тем — ничье. Когда этот голубой океан наполняет душу, как-то *упраздняется собственность,* упраздняется все отдельное, исключительное: все мы принадлежим друг другу, все близки бесконечно.

“Все братие: друг друга обымем, и тако возопием: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав”.

Вместе со смертью будем побеждать и время и расстояния. Получив это письмо, почувствуй ты эту победу: сознай и представь наглядно, *неотразимо,* что нет тысячей верст между нами, что ты со мной и я с тобой!

Ах прости, моя дорогая, что ничего житейского о себе не сообщаю: до житейского ли сейчас, когда вырастают крылья в душе! Эти крылья — ведь они твои, их я не чувствую без мысли о тебе. Чего же тебе больше? Что может быть вообще больше этого? Ах милая, умей радоваться, всегда радуйся и слушай внутреннее пенье. Душа поет!

Пусть поет всегда!

44. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[15 апреля 1910 г. Москва. В Ялту.]

Четверг

Дорогой Евгений Николаевич! Христос воскресе, поздравляю Вас с праздником и от души желаю Вам всего лучшего. Надеюсь, что у Вас хорошая погода и Вы пользуетесь вполне Вашим пребыванием в Ялте. У нас прямо лето, чудесная погода. Сегодня начинаю говеть с детьми, а в Субботу будем причащаться. Очень много хлопот по издательству, о рисунке на обложку и о книге Булгакова и Соловьева. Я действительно исполняю обязанности секретаря. Это мне самой должно выяснить, в чем состоит все дело издательства. Я этим очень довольна, т. к. люблю сама знать дело[86]. Миллион хлопот также и в устройстве дома в деревне. Как видите, я живу очень суетливо, но по вечерам сижу дома, благодаря этому много читаю и с детьми и одна. Надеюсь, что Ваша работа идет хорошо. О здоровье Вашем Вам сейчас думать, слава Богу, особенно нечего, т<ак> ч<то> Вы, наверно, много сделаете. Поцелуйте от меня Веру Александровну, я ей тоже пишу.

Преданная Вам

М. Морозова.

45. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[22 апреля 1910 г. Ялта. В Москву]

Милая, дорогая и родная

Ты не поверишь, какой отрадой были мне твои два письма “до востребования”, в особенности второе, после исповеди. Такое в них все близкое, родное, хорошее. И такое глубокое чувство взаимной гармонии, понимания[87].

У меня такая была *очень хорошая* исповедь и очень близкая к твоей. Собственно, вся исповедь была связана с тобой, т. к. вообще с тобой связана вся моя духовная жизнь и в светлом, хорошем, прекрасном, и в темных эгоистических личных порывах. Обе стороны я раскрыл на исповеди и встретил, к удивлению, большое понимание. Не было требований, чтобы я тебя оставил; напротив, священник понял, что не это нужно. Он сказал: “раз отношения у Вас в основе духовные, то пусть они такими и будут: старайтесь свести все на хорошую духовную дружбу. Христос поймет и простит: он сам испытал и знал, что такое дружба с женщиной. Только не омрачайте Вашей души: Вам нужно сохранить всю ее для того великого дела, которое Вы делаете”.

По-видимому, это — мой приверженец и читатель[88]; но не в этом дело. А дело в том, что твои письма так и обдали меня впечатлением глубокой духовной близости с тобой, близости к тебе самых интимных моих переживаний. Оцени этот парадокс! — Все, что, казалось бы, должно было нас разъединять, нас сближает; и наоборот, отчуждение происходит от самых пламенных и страстных порывов друг к другу, когда они *только*личны и эгоистичны. Есть на свете *холодный огонь:* и жжет и леденит душу в одно и то же время; его я боюсь больше всего на свете. Вот в твоих двух письмах я чувствую другой огонь, который меня согрел и наполнил еще большею любовью к тебе. За то спасибо тебе, моя родная.

Соловьев мой подвигается; но я все еще сижу в таких его частях, где не может быть воодушевления. Чисто аналитическая, а потому преимущественно разрушительная работа *пока.* Но это разрушение для меня крайне важно и в созидательном отношении, потому что именно оно открывает положительные задачи. Чтобы знать, как осуществлять “великий синтез”, надо, во-первых, ясно сознать, что доселе он терпел крушение и, главное, — *почему.* С этой точки зрения критика “Критики отвлеч<енных> нач<ал>” мне дает ужасно много. Другой вопрос, будет ли это только подготовительный этюд для меня или нечто годное для опубликования в этом виде.

У нас все хорошо. Верочка была переутомлена в Москве, а здесь отдыхает. Соне лучше. Она начала купаться. Я также купаюсь.

Христос воскресе, родная и дорогая.

46. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[25 мая 1910 г. Михайловское. В Neuenahr.]

Вторник

Дорогой, милый, радость моя, ангел милый! Где ты, где ты, мое сокровище? Если бы ты знал, как тоскует мое сердце, как потухло все кругом, как опустела жизнь. Я даже не знаю, что со мной, что будет, как я вынесу такой разрыв в то время, когда нет, кажется, предела моему порыву к тебе, мой прекрасный! Как жестоко так все рвать, и можно ли это безнаказанно? Нет ли у чувства *своих* законов? Так все это таинственно и скрыто от нас самих. Ну да что об этом теперь говорить, ты уехал, ты далеко, ты один и я одна! Вот что ужасно для меня. Я думаю обо всем, что ты говорил, и одно меня мучит (впрочем, и еще многое): ты сказал: я там должен тоже прощаться! Что же это значит? Неужели ты также и там прощался, неужели, неужели? Боже, Боже мой, как все это ужасно, как вынести это! Все мое существо болит и рвется! Какая пытка! Вот я знаю, что не надо этого всего писать, но я принуждаю себя это сделать, иначе совсем ничего не напишется, и я замолчу, что хуже. Ты не отвечай на это ничего, только прочти и брось! Я вся в мучении, волнении и неразрешенных чувствах, что делать, что делать, как быть с самой собой, куда уйти от себя! Ангел милый, бесценный мой, обожаю тебя безгранично, без конца, всей душой, всем существом. Целую тебя, моя радость! Жду письма скорее.

Твоя Гармося.

47. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[29 мая 1910 г. Neuenahr. В Михайловское.]

Суббота 29 Мая

Наконец опять милый, дорогой, желанный почерк, Маргосин почерк, и милые, безумные, глупые, но дорогие слова. Пять дней шло письмо. Спасибо, что дошло. Долго я ничего не понимал в этом письме. Мне в первую минуту было безразлично, *что* ты написала, просто радовало все, каждое *твое* слово, просто твой почерк.

Только перечитав письмо в третий раз (три раза в минуту), наконец понял его смысл. Вопрос, *так ли я* прощался *“там”* — разумеется, не нуждается в ответе, ибо он обиден: дура, *так,* разумеется, в двух местах не прощаются!

А теперь слушай, моя дорогая, ответ на то, что ты пишешь о моей “жестокости”! Ведь *не я* не пустил тебя сюда! Твой, собственный твой внутренний голос не пускает. Никаких *внешних,* от меня идущих запретов нет. Стало быть, есть

внутренний запрет? Почему же *я*жесток, когда мне самому так больно, так мучительно и трудно без тебя! Я тебя *только* не зову, и Бог видит, как это мне тяжело. А если *ты* не едешь, то, стало быть, и твой внутренний демон или ангел-хранитель тебя не пускает.

Мы с тобой во всем бесконечно близки, и в том, что влечет нас друг к другу, и в том, что борется против этого порыва. И в этом я тоже тебе не чужд, что бы ты об этом ни говорила!

Но довольно об этом. Принялся за Соловьева. Сначала пальцы были словно свинцом налитые, мозги тяжело ворочались, душа *вся болела,* конечно все той же болезнью — Гармосей. Потом сделал усилие, и пошло. Но Гармося не исчезла, не ушла в дымку, а только преобразилась: из боли и муки она превратилась в что-то радостное и бодрящее. Так что, милый, дорогой мой спутник в радости и в печали и во всем, — во всей моей внутренней жизни — Друг! *Другое я.*

До свидания, моя Гармося, до свидания, моя ненаглядная и бесценная, моя улыбка и солнце! Вот видишь, я тебе теперь пишу без увещаний, не я пишу, а сама душа моя пишет.

48. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Конец мая — начало июня 1910 г. Михайловское. В Neuenahr.]

Милый, дорогой, родной, прекрасный! Сейчас получила твои два письма и совсем схожу с ума от радости! Только что написала опять *очень* глупое письмо — прости, прости, мое сокровище. После получения от тебя письма я оживаю и окрыляюсь. Сейчас не могу удержаться, чтобы не написать несколько слов. Прости, мой ангел милый, что на каждой минуте надоедаю тебе письмами, но не могу иначе. Пишу все несуразно! Целый день бегаю по всему именью до изнеможенья. Играть еще не начала — жду фортепьяно. Отдыхаю часа два за книжкой — читаю Гарнака. В душе хаос с одной стороны, но твердо и ясно с другой, пока Silentium, “молчи, скрывайся и таи”. Ты говоришь, что у меня то же, что и у тебя, что я так же думаю, нет, мой бесценный, на этот раз ты ошибаешься! У меня совсем, совсем другое! И *очень* твердое, но другое! Ну до свиданья, ангел милый, дорогой, прекрасный! Прости за все письма, я бы сдерживалась, но реже писать *сейчас* — лишняя мука, да и ни к чему, никому я неприятного не делаю, а только тебе могу надоесть. Целую крепко, крепко.

Твоя Гармося.

49. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Первые числа июня 1910 г. Михайловское. В Neuenahr.]

Прекрасный мой друг! Волшебный мой ангел, желанный мой! Как я тебя люблю, как обожаю! Прошу тебя, услышь сейчас мое сердце, мою душу! Вся вся я полна тобой, мой бесценный, любимый, родной! Какой ты друг, какое счастие иметь такого друга! Все, все я сделаю, все жертвы соглашусь принести, лишь бы сохранить тебя для себя, моего драгоценного! Впрочем, я вру, прежде чем я буду приносить все жертвы, я хочу одну минутку, одну маленькую минутку радости, *моей* радости в жизни! Подумай только, ведь это *единственная м о я* минута, когда я живу — это с тобой! Но только совсем, совсем с тобой, *одной с* тобой в целом мире, хотя на минуту! Я знаю, что за это все отдам и все вынесу! Тогда мне не страшна жизнь и все лишенья! *Я знаю,* что я зачерпну такой силы, такой радости, такого огня! Ангел ты мой! Я это все так ни за чем пишу, так просто изливаю тебе душу, ты можешь ничего не отвечать на это! Целую тысячи раз все, все мое милое, дорогое, прелестное, радость моя, жизнь и счастье.

Твоя Гармося.

50. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[9 июня 1910 г. Neuenahr. В Михайловское.]

9 Июня Нейнар

Гармося моя дорогая, мой милый, неоцененный и горячо любимый друг

Пишу тебе, чтобы опорожнить весь мой мешок. Носить и накоплять такую тяжесть в душе и не говорить тебе до дна все, что во мне, прямо невыносимо.

До сих пор не объяснял тебе как следует, в чем моя тоска и боль. Только жаловался, что она *есть.* Теперь прямо скажу, в чем дело. Когда ты упрекаешь меня в “гамлетовщине” и говоришь, что есть минуты, когда *надо действовать,* эти слова меня жгут, потому что они попадают в больное место. Да, дорогая моя, *надо действовать;* а раз надо действовать, надо делать *что должно,* чего бы это ни стоило!

Милая моя и дорогая. *Оба мы чувствуем,* что отношения наши дошли до той точки и до того напряжения, при котором *прежнее* становится уже невозможным. Должно наступить что-то совершенно новое. Но что именно?

Начну с самой страшной для моего чувства возможности. Об окончательном разъезде, о разрыве и не думаю. Не потому, что это невыносимо для чувства, — нет! Если бы мы с тобой пришли к заключению, что это *должно,* что так Бог велит, то надо было бы это сделать *во что бы то ни стало,* хотя бы от этого сердце

разорвалось пополам.

Но тут меня удерживает всегда то, что ты знаешь. Многое я осуждаю в моих к тебе отношениях, но осудить их *целиком по совести не могу*. В молитве зарождалось это письмо: спрашивал я у Бога и у Матери Божьей, точно ли *все* в наших отношениях *дурно*, предосудительно, так, что их нужно *просто* прервать. И несмотря на бури и жестокие сомнения в душе моей, что-то *по совести* мне говорило, что в наших отношениях есть *святыня,* которую нужно беречь. Сколько святого идеализма, сколько порывов ко всему прекрасному и святому, сколько воодушевления во мне зародила и зарождаешь ты! Бросить *это* — зачем? Такого веленья в душе своей я не чувствую.

Но чувство мое к тебе не так просто и не так односложно. Есть в нем другая сторона, на которую совесть кладет ясный и мучительный запрет. *Тут* молитва решительно *не пускает.*

Милая моя, получил твое письмо с письменным призывом, где ты говоришь об *“одной минуте”. На одну минуту* будь мой, совсем мой, а потом я согласна на *всякие жертвы*и все перенесу ради тебя.

О “минуте” скажу после. Пока начну с того, что ты сама чувствуешь необходимость “жертв”. Какие-же это жертвы?

Ты меня хорошо знаешь и чувствуешь, что мне тяжело, невыносимо жить в неправде, в полном противоречии со всем тем, во что я верю всей душой. Дорогая моя, сама жизнь и чувство, твое и мое, ставят вопрос: кого же, наконец, я люблю больше — тебя или Бога. Если я скажу, что *тебя,* ведь этим я произношу себе смертный приговор: тогда надо поставить крест надо мною и как над человеком и как над деятелем и выбросить вон, как дрянь, ничего не стоящую. Бога надо любить *всем сердцем и всею душою,* и эта любовь — *обязывает*. Тут не рассуждения, не “голова” говорит, а само сердце вопиет; тоска смертная и мука невыносимая, — когда делаешь что-нибудь против этой любви, — вот что свидетельствует о ее необходимости. Какая тут “голова”, какие тут рассуждения, когда слезы душат и человек катается по земле от боли.

Этой верой я живу, мой друг, и вырвать ее из моего сердца значит вырвать и самую душу. Ты мне говорила как-то о компромиссах и что я сам же об этом писал. Да, дорогой друг, писал и не каюсь. Но ведь есть компромиссы двоякого рода — компромисс с *несовершенством* и компромисс с *грехом.* Первый — сам Бог благословляет: он благословил и брак и государство, хотя *совершенство,* конечно, — в безбрачии и в безгосударственности. Все это разрешается *ввиду нашего несовершенства и не есть грех*. Но *с грехом у* Бога не может быть никаких сделок и

компромиссов: тут кладутся законы безусловные..

Ты меня хорошо знаешь, настолько, что *этой веры* ты не можешь надеяться во мне изменить. *Переубедить* не можешь. На слабость мою надеяться сама *не хочешь*. Знаешь, что на этом пути я не могу найти счастья, а несчастным меня видеть не желаешь! На что же тебе в этом направлении надеяться. Ты это прекрасно понимаешь: поэтому ты теперь и говоришь всего только об *“одной минуте”*. Но на это я скажу вот что. После “одной минуты” вторая такая же минута становится еще желательнее, еще соблазнительнее, после второй минуты — третья и т. д. Скажи по совести, можно ли тут положить *какой-нибудь предел?* И не есть ли разговор об “одной минуте” — самообман и иллюзия? На этот вопрос ответь сама, но только не перед своим чувством, а *перед Богом*. Впрочем, ты уже мне говорила как-то, что “одну минуту” нельзя понимать буквально! Но если эта минута — продолжительная, то переход к той пустыне, которая после наступит в будущем, — еще ужаснее.

Что же делать. Продолжать жить по-старому, как в прошлом году в Москве? Чувствую, что это было бы *слабостью* и большой виной — прежде всего *перед тобой*. Внушать тебе самые сильные желания, раскалять добела, устраивать, как ты говоришь, “ядовитые испытания” твоему чувству, а потом — его не удовлетворять? Это жестоко, и каждое письмо твое мне говорит, что этого теперь *нельзя* и не следует делать. У любви действительно есть свои требования и свои законы. Это я чувствую, — чего таить, — и на самом себе. Когда я с тобой, под твоим очарованием, я также начинаю терять самообладание. Если выдержу искус, то будет *трое несчастных* и измученных понапрасну. Не выдержу — то же самое: ибо сам при таком ужасающем раздвоении счастлив не буду, стало быть, тебе счастья тоже не дам и еще бесчеловечным образом заставлю смотреть на все это и терзаться третье существо!

До сих пор все между нами делалось в надежде, что любовь преобразуется в дружбу. Но пора и тут отбросить иллюзии. Само по себе наше чувство, если ничего для этого не делать, ни во что другое не превратится, а только из дня в день и из часа в час будет разгораться в огромный пожар. Я по себе чувствую, как оно растет: если сейчас ничего не предпринимать, то скоро всякая борьба станет невозможной: наступит что-нибудь такое, после чего надо будет или разъехаться окончательно, или отречься от всего святого, отречься от Бога. Но тогда и Он отречется.

Я чувствую, что нужно *теперь* или *никогда* сделать отчаянное усилие, чтобы сохранить святыню наших отношений. Я вижу для этого только один исход: *на эту зиму* надо мне уехать из Москвы.

Пишу тебе это нарочно *отсюда,* чтобы ты не могла подозревать никакого “влияния”. Не только *об этом* в Бегичево не писал, но даже имя твое в письмах туда и оттуда не упоминается! И не буду писать и говорить, пока мы с тобой *оба* не придем к окончательному решению.

Я тебе много раз говорил, что *без тебя* никакого решения не приму. Я понимаю его только как жертву *с обеих сторон,* вполне сознательную и добровольную. Имею к тебе безграничное доверие и потому знаю, что ты на эту жертву пойдешь, если убедишься в ее необходимости. Если же нет, то укажи какой-нибудь другой исход; я его не вижу!

Можно против этого возразить, что разлука на *одну зиму* — все-таки полумера, которая ничего не изменит. С этим я не согласен. — *Для тебя* эта зима может иметь один очень желательный и даже необходимый результат. Ты должна привыкнуть строить свою жизнь *не на мне одном, найти* себе какое-нибудь дело, которое бы тебя занимало *безотносительно ко мне.* А то ведь со всяким моим отъездом все рушится. А когда я тут, то нет у тебя иного интереса кроме меня; а я *все-таки не твой,* что служит источником мучений. Если же у тебя найдется содержание для жизни и дело без меня и создадутся соответственные с этим привычки, то тогда и встреча со мною потом создаст менее ядовитых испытаний и переход к дружбе, может быть, и станет возможным, чего теперь нет.

А для меня это отсутствие будет иметь действие *Афона! О счастии* говорить нечего! Знаю, что иду на страдания и на крест. Но ведь не счастье есть цель жизни. “Аще кто хощет по Мне итти, да отвержется себе, да возьмет крест свой и да идет вслед за мной”. Вот слова, которые меня сейчас мучают, потому что я их не исполняю и буду радовать[ся], когда я их исполню. Вне этого креста нет у меня надежды сохранить и нашу духовную связь, милая, дорогая, нежно любимая Гармося. Какого креста не понесешь ради этого!

Верочку до сих пор умышленно оставлял в стороне, чтобы ты не думала, что все дело в ней. Она *о себе* не пишет, но мальчики пишут, что и сейчас она почти не ест. Я знаю, что это значит. Нужно ли доказывать, что ей год отдыха необходим. Боюсь, что Москвы она не вынесет.

Но повторяю, что тут дело решается совсем не ее страданиями, потому что твое *человеческое* страдание, если говорить только о человеческом, совершенно ему равноправно и заслуживает такого же внимания. Но тут дело не в человеке и его страданиях, а *в Боге.* Что Он велит, то и свято. Есть нечто высшее у каждого человека, чем личное чувство, хотя бы самое святое и

сильное.

Если бы ты была моей женой, а я был бы, скажем, по призванию военным, то ведь не стала бы ты требовать, чтобы ради любви к тебе я не шел на войну или убежал к тебе с поля сражения. Ничтожества и малодушия ты не пожелала бы мне ни при каких условиях. Но ведь это значит поставить жизненный идеал и долг, из него вытекающий, выше любви.

Так и теперь! Пожелаешь ли ты для меня пути слабости, малодушия, измены идеалу? Нет, Гармося! В отношениях с тобой ты требуешь от меня мужества и силы. Ты знаешь хорошо, что если не будет силы во мне *как человеке,* то не будет ее и в моем деле. А дело мое ты любишь и всей жизнью своей мне это доказываешь.

Друг мой дорогой, обсуди это письмо так же, как оно написано, со слезами и молитвою. И не отвечай первое, что придет на ум. Продумай ответ. Ведь я от тебя не убегаю. Увидимся еще не раз летом и осенью и поговорить можем обо всем этом до дна. Ах как хочется, как нужно нам с тобой хорошо, хорошо обо всем этом переговорить, и *не на бумаге.* Тоска моя, любовь моя, радость моя, ангел дорогой, как жажду я тебя сохранить, как жажду тебя видеть и слышать. Тогда бы ты увидела и *поверила* в безграничную любовь к тебе, которая все это говорит и пишет.

Не несчастья я боюсь, а зла! Если мы сделаем по-Божески, то будь мы сейчас хоть беспредельно несчастны, — все выйдет светло, прекрасно и хорошо. Бог поможет. Вверяю себя и тебя Богу и Матери Божьей. Дорогая, милая, светлая, радостная.

Крепко целую.

51. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Около 15 июня 1910 г. Москва. В Neuenahr.j

Дорогой мой, радость моя и счастье! Ты теперь уже получил мою телеграмму и знаешь, что я приеду в субботу. Дорогой мой, будь покоен, я тебя не стесню и, если тебе это будет чем-нибудь неприятно, то я и уеду сейчас же. Вообще что бы ни было, а иначе я сделать не могу, это свыше моих сил, потому не сердись и пойми меня. Я не могу не прийти, не повидать тебя, не побыть с тобой, хотя денечек, не излить всей моей тоски по тебе! Если бы ты знал, сколько нежности и любви в моей душе, положительно сердце мое не выдержит! Всю жизнь готова тебе отдать, любовь моя и радость! Не думай, что мной руководит хотя бы тень чего бы то ни было, кроме безумной любви и нежности! Умоляю тебя, подари мне несколько дней, будь весел и радостен, милый ангел мой! Никакого “насилия” я никогда не хочу, ничего я не “требую”

(что ты написал в последнем письме — мне это глубоко больно), будь таким, каким ты хочешь, только будь радостным и беззаветным. Ах, *к а к я* об этом мечтаю. Я бы не могла перенести твоего отъезда, если бы не знала и не решила, что бы ни было, что я поеду и повидаю тебя, хотя бы на минутку. Все еще было в Москве готово, и паспорт и даже купэ, на этот день. Вот тебе доказательство, что я не думала о том и вовсе не хотела, чтобы ты меня звал. Я понимаю, что ты этого сейчас не можешь, понимаю вполне и нисколько ни одной секунды против этого не возмущалась, уверяю тебя. *Я сама исключительно, всей своей душой,* без всяких внутренних препятствий не могу представить себе, как это *я* могу не поехать. Это и есть то ясное, о чем я тебе писала. Говорить я тебе не хотела раньше, не хотела тревожить, с одной стороны, а с другой — мне хотелось “поегозить” с тобой, хотя, может быть, и неудачно. Прости все мои глупости, если они тебе не понравились! Мне всегда хочется играть немножко с тобой! Мне стоило огромного усилия, труда не поехать раньше, но я не смела. Я понимаю, что ты должен отдохнуть от всего и от меня и полечиться. Потом и я всё время была занята устройством жизни. Теперь я всем домашним сказала, что поеду на несколько дней в Финляндию, остальным нет дела, никто не узнает. Еду на Ригу, хотя это, кажется, лишний день (какое мученье), но зато меня *никто* не увидит. В Neuenahr остановлюсь, где ты хочешь! Может быть, в этом большом отеле, в больших отелях меньше заметно. Впрочем, как ты хочешь! Надеюсь, что ты несколько дней побудешь еще в Neuenahr. Женичка, пойми, что когда я подумаю обо всем лете, о зиме, об этих лишениях, постоянной спешке, меня охватывает ужас. Для сохранения своей души, для спасения своих сил и жизни я должна побыть с тобой, вздохнуть свободно, набраться радости и света, чтобы быть тебе какой нужно, бодрой и радостной для тебя, для детей и для всех! Это очень, очень сериозно, и я знаю, Бог видит, что это мне стоит жизни и всех сил! Радость моя, поверь моей любви и прости мне.

Твоя Гармося.

52. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[28 июня 1910 г. В вагоне поезда Вязьма — Калуга. В Михайловское.]

№.3

Милая и дорогая

Пересел в Вязьме на нашу проселочную Сызрано-Вяземскую жел. дорогу и пишу тебе в последний раз в пути.

После Германии меня обдает все больше чувство, что я в стране “кое-каков”, т. е. у себя дома. Особенно ясно я это ощутил,

когда мой артельщик категорически заявил, что из Вязьмы до Пятковской он вещей в багаж не сдаст, “потому что в вагоне будет слободно”. Действительно “слободно”: один диван завалил вещами, на другом лежу сам. И не видно ни стоячих усов, ни круглых, гневно удивленных глаз (also skandalisiert). Напротив, кондуктора явно сочувствуют, понимая, что так и быть должно.

“Слобода”! Сколько тут хорошего и страшного. В первую минуту она радует как свобода от узости, ограниченности, условности и “буржуазности”. Но уже во вторую минуту находит тоска и страх; потому что пока эта “слобода” — только хаос: всякий влагает в нее что хочет — самодурство, каприз, барство! “Захочу — и положу ноги на стол”. Захочу — и буду жарить сапоги всмятку (uncrhorte Frechheit).

И кроме сапог всмятку ничего в этой стране не жарят. Даже к философии Соловьева применимо это любимое славянское кушанье. Нет, нельзя себе позволять быть “коекаком”. Охватывает чувство тяжести и ответственности перед этим беспредельным и хаотическим пространством. И в каждой пяди этой земли я сильно то радостно, то мучительно чувствую тебя, моя родная, хаотическая и неограниченная Гармося, самый милый и бесценный из коекаков.

Родная моя, помоги мне, облегчи тоску мою и задачу, помоги мне ввести предел в то беспредельное, что есть и во мне и в тебе. Без этого ни из тебя, ни из меня ничего не выйдет! Хочется утверждать хаос против Германии, против всего слишком ограниченного, прилизанного и скромного, хотя бы и добродетельного. Но утверждать “слободу” или хаос *безотносительно,* как что-то само по себе дорогое — нельзя. Иначе этот океан все затопит. Друг мой родной и хороший, как мне нужна, как мне необходима твоя дружба. Сожми мою руку крепко, крепко и помоги.

Целую тебя крепко.

53. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Между 28 июня и 3 июля 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Дорогой мой, радость и свет моей души! Боже мой, как я была счастлива получить твою открытку и письмо с дороги! Безгранично благодарю за добрую весть, ангел мой, как она была мне нужна, какой подъем и какую радость она влила в меня. Если бы ты знал, сколько сил, надежды и веры сейчас наполняют мою душу! Конечно, я верю и знаю, что в наших отношениях есть высший смысл, знаю, во имя чего они, знаю, что они должны служить достижению действительно *свободной* жизни в духе. Знаю, что нужен подвиг, нужна жертва! И с глубокой радостью

моя душа жаждет и того и другого! Дорогой мой, бесценный, ты всегда призывал меня к лучшему, к высшему, всегда через тебя Бог говорил со мной! И теперь вот, когда вся моя жизнь дошла до предела радости здешней, блаженства, когда небо для меня слилось с землей, тогда снялся с души какой-то покров, и опять через тебя вижу ясно, что за этим открывается. Новый путь, новая жизнь, новая радость, но более глубокая, более свободная, более близкая к Богу, к истинному свету. Знаю, что для достижения этого надо взять крест, надо с верой и любовью смириться душой. Ангел мой, бесценное мое сокровище, я знаю и верю, что я тебя опять найду, опять встречу, опять заслужу, опять безгранично будет радоваться моя душа. Ты единственный, кому принадлежит все мое существо, вся душа, потерять тебя — есть *конец* жизни для меня! Я не только умру для себя, я умру для детей, для дела, для всего. Могу ли я согласиться умереть, когда вижу перед собой возможность жизни. Пусть страданья, пусть борьба, пусть лишенья, но они ведут к возрожденью, к воскресенью и к тебе, к твоей душе, ко всему, что тебе свято! Не только смысл твоей и моей жизни сохранится, но он должен засиять с новой силой, я знаю! Дорогой мой, молю тебя, поверь мне, ты так во мне сомневаешься, я это чувствую, и мне очень больно! Не отнимай у меня надежду сохранить для тебя всегда лазурь и с тобой вместе идти светлым, радостным, хотя я знаю, что трудным, путем. Если бы ты знал, *как я* благодарю Бога, благодарю тебя, мой ненаглядный, за все, что было, как это все освободило, разрешило мою душу, как возвысило ее. Будь ты светел, будь спокоен за все душой, мой друг прекрасный и дорогой! Помни одно, из всей глубины души моей говорю, что с тобой одним, около тебя спасение моей жизни и торжество того прекрасного, чего, правда, все-таки ищет моя душа! Говорю тебе это перед Богом и опять повторяю тебе, что *бескорыстно* по смыслу мое чувство к тебе. Все силы отдам, чтобы доказать это на деле. Для себя, во всем — делай как хочешь. Я же для себя, практически, вижу необходимость прекратить “Еженедельник”. Это мучительно и ужасно для меня, но неизбежно. Это нужно сделать как можно скорее[90]. Это одно даст мне силу искать выхода и бороться с собой в ежедневной жизни, что необходимо. Обо всем мы поговорим, решим и сделаем все при свидании. Пиши скорее обо всем подробно. Пиши *обо всем* ради Бога! Если бы у меня был твой талант, сколько бы я написала сейчас, сколько новых тончайших нитей можно бы провести и затронуть! Как много таинственного открывается в душе, как все, казалось бы, такое противоположное, связано между собой! Надо только суметь овладеть всем этим даром Божьим, суметь быть достойной такой

красоты и радости! Душа моя, счастье мое, жизнь моя, друг дорогой, бесценный. Будь спокоен! Если бы ты знал, *как* мне хорошо и ничего не страшно, одна радость и вера! Пиши! Надеюсь, до 14го, не правда ли?

54. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Между 8 и 11 июля 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Дорогой, милый друг! Какие счастливые дни были вчера и третьего дня — я получила твои дорогие письма — мой ангел милый! Какое было счастье! Целых четыре дня я оставалась без известий и томилась ужасно, даже написала тебе слезное послание. Получил ли ты *все* мои письма, напиши, их было *четыре,* это пятое? Наконец-то ты пишешь о своем здоровии! Как это меня огорчает, что ты захватил эту инфекцию в Neuenahr.

Очень обидно! Будь осторожен и поправляйся совсем, дорогой и любимый мой! Как я счастлива, что у вас все хорошо и устраивается так, как ты хотел и находишь нужным. Если не будет никаких изменений от тебя, то я еду в Москву 18го утром, с дачным поездом, и буду дома в первом часу дня. Как ты приедешь — позвони. Я очень смущаюсь тем, что 18го, 19го будут в Москве Гр<игорий> Ник<олаевич>, Серг<ей> Андр<еевич> и Струве[91]. Это может помешать и расстроить нашу беседу! Я очень боюсь, как бы они к тебе не пристали и не отняли тебя у меня! Это будет ужасно! Никто не должен знать, что я буду в Москве 18го и 19го, я буду скрываться! Для этого я еду в Москву завтра, буду в редакции и устрою все дела. А то и меня Серг<ей> Андр<еевич> может потребовать, он мне писал. Я ему писала, пока проблематически, что возможно, что я должна буду отказаться от поддержки “Еженед<ельника>” ввиду неустройства в делах, что у меня на этот год может не быть нужной суммы денег[92]. Я ему писала, что это пока между нами, что никто, кроме “Вас и Евг<ения> Ник<олаевича>”, этого пока не знает, но что я боюсь, что это может случиться. Я нарочно так предупредила, чтобы Серг<ей> Анд<реевич> не был потом поражен как неожиданностью. Ты не можешь себе представить, как мне было больно это писать! Сколько труда, жертв, сил и мечты были положены в это дело, и вдруг *я сама* так пишу и должна так поступать! Это ужасно! Надеюсь на Бога, что он мне поможет, хотя на другой лад, но продолжать то же дело, что оно не умрет, а будет для меня жизнью и даже с тобой! Это для меня все! Дорогой, бесценный, любимый, родной друг, как мне хочется все сделать, чтобы окрепло мое хорошее настроение, как ты пишешь, Бог поможет мне *сласти* мою жизнь, ведь это *вся моя жизнь на весах! Я* это сознаю. Не должно, не сметь все умирать, *должно* жить в силе, в красоте, в радости. Чувствую подъем сил и

веры прямо невероятный! Здоровье мое так хорошо, как никогда! Господи, только бы сохранить и спасти ту радость, тот подъем, ту силу, которую мы можем дать друг другу! Разве страшны все жертвы, какие бы ни были нужны для этого! *С этим сокровищем,* которое нигде и никогда уже не найдешь, ничего не страшно и можно и нужно идти бодро в жизни и все делать для других. Если бы ты знал, какой подъем сил я чувствую, все делаю с громадным увлечением! Играю, читаю, хожу с детьми! Мика и Маруся просто такие милые и так ласковы со мной — одна радость! Они оба мечтают о твоем приезде сюда и хотят почему-то непременно, чтобы ты приехал на неделю. Я их уверяю, что это нельзя, что у тебя твоя семья, но они и слышать не хотят. Маруся при этом говорит “ангел Евг<ений> Ник<олаевич>”, даже *мое* слово и тут нашла. В случае изменений 18го не забудь, что 17-го я не могу приехать, т. к. мои именины, ну а после всегда могу. Целую крепко, крепко и нежно.

Твоя Гармося.

55. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[12 июля 1910 г. Бегичево. В Михайловское.]

№ 6

Милая моя и дорогая

Не понимаю, что творится! Одновременно с последними письмами я отправил тебе телеграмму (Малоярославец, Морозовой), что буду в Москве 18 утром; но на другой день получил уведомление, что телеграмма не доставлена “за выбытием Морозовой в Серпухов”. Очевидно, есть какая-то другая. Поэтому телеграммы больше отправлять не буду или в крайнем случае телеграфирую “Малоярославец, почтою Оболенское” (нарочным Михайловское не дойдет, т. к. этого имения никто не знает). Если не будет новых извещений, то буду в Москве в 7 1/2 утра 18го; если случайно проснешься около 3х — 3 1/2 часов ночи, то подумай, что я в это время проезжаю мимо разъезда № 15; я тоже подумаю, и таким образом мы хоть в мыслях встретимся недалеко от твоей милой дачи; твой же поезд будет не в час дня, как ты ошибочно думаешь, а в 12 в Москве. Не могу тебе выразить, как я буду рад тебя видеть и как для меня важно это свидание.

Насчет Струве и комп. не беспокойся. Мне слишком хочется самому тебя хорошо повидать! Всего вероятнее, что устроят какой-нибудь завтрак или обед; но ведь в Москве нам во всяком случае нельзя быть столь же неразлучными, как в “Королевской зиме”[93]; а к тому же я заеду к тебе. Меня все еще страшит возможность приезда Северцова, коего лечение, по-моему, должно

кончиться около 18го; но, во-первых, он может денек-другой обойтись без меня; а если бы даже пришлось из-за него ускорить мой отъезд, то я бы это наверстал, приехав к тебе в деревню не в счет абонемента — потом.

Занятия мои идут очень продуктивно. Природа здешняя продолжает служить для меня источником *огромного* наслаждения. У нас началась жатва, и я с радостью смотрю на неслыханный, завидный даже для юга урожай ржи — плод многолетней борьбы с антикультурностью всей природы и населения. В виде насмешки, впрочем, потравлена в лоск собственным же скотом именно та десятина, на которой был произведен опыт высшей культуры: такого опыта Россия вытерпеть не может и считает себе за оскорбление: национальное чувство возмущается, когда кто-либо пытается превратить родную землю в Данию. Значит, придется помириться на чем-нибудь среднем.

Ужасно мне жалко нашего милого “Еженедельника”; как мне о нем не болеть, когда столько души и столько любви с ним срослось. Утешаюсь тем, что будет сохранено нечто бесконечно более дорогое… Милую мою Марусю расцелуй от меня хорошенько. Надеюсь, что она (и ты) получила мои фотографии из Кц nigswinter’a.

Крепко целую мою дорогую именинницу и на всякий случай уже теперь поздравляю, т. к. письма ужасно запаздывают.

56. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[14 (?) июля 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Милый, дорогой друг! Я очень поражена историей с телеграммой, т. к. всегда к нам телеграммы доходят. Действительно лучше писать так: Малоярославец, Морозовой, имение *бывшее Обнинского,* с нарочным. Пишу это на всякий случай. Письма идут совершенно фантастически, то три дня, то на другой день приходят. Твои фотографии мы получили; у Маруси она висит на стене в ее комнате, а у меня спрятана вместе с другими драгоценностями в ящик. Начала читать Бергсона, меня в высшей степени интересует его нить мысли, которую я еще не вполне уяснила себе, но вопрос поставлен животрепещущий: “теория познания есть теория жизни”[94]. Очень это меня задевает. Настроение мое все такое же бодрое и *внутренне* покойное и решительное. Надеюсь, и ты бодр и здоров. Радуюсь, что работа идет хорошо и хозяйство твое тебя радует. Жду с нетерпением 18го. Мы с Сусанн<ой> Мих<айловной>[95] все обсудили о “Еженедельн<ике>”. Дело в том, что вопрос об окончании связывается с вопросом о контракте на квартиру,

который надо или теперь заключить, или покинуть квартиру. Придется в августе все обсудить и для этого всем собраться в Москве, т. к. если все решат, что с моим уходом дело и вообще кончается, то оно должно кончиться к 1му сентября. Я хочу вернуться в Москву и начать жить на совершенно новых условиях, а то мне это все слишком будет больно и тяжело и я могу не найти достаточных сил для предстоящего мне испытания. Есть минуты, когда *должно*думать о себе не для себя, а для всех и для всего. Не забудь, что мотив моего ухода для всех есть недостаток средств, нужных для ведения “Еженедель<ника>”. Если ты будешь говорить с Григ<орием> Ник<олаевичем> и Котляревск<им>, то скажи им об этом. Я Серг<ею> Андр<еевичу> писала уже[96]. Мы с Сусанн<ой> Мих<айловной> устроим контору издательства у меня в доме и будем заниматься с ней этим делом. Ты меня успокоил насчет Струве и К — а то я перепугалась! Ну, до свиданья, милый, хороший и родной мой друг. Я знаю, что мой поезд приходит в 12 ч. в Москву, но бывает опоздание. До свиданья, до свиданья, до скорого — какая радость.

57. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[6 августа 1910 г. Бегичево. В Михайловское.]

№ 1

6 Августа

Милая и дорогая

Начну с самого для тебя интересного. После двухнедельного долгого обсуждения все мы наконец пришли к согласию, чтобы я просил себе командировку на вторую половину года. Как-то всем это оказалось удобнее:

для сыновей при этой комбинации жертв — никаких, а только одно удовольствие; в финансовом отношении затруднения отпадают. Наконец, я надеюсь, что это будет лучше *для самого главного:* именно нужно, чтобы наши отношения в Москве установились по-новому уже до отъезда за границу и чтобы от этого воспоследовало успокоение *для всех, о*чем мы при свидании так много говорили.

От души надеюсь, что все это, Бог даст, наладится так, чтобы всем было *в душе* легко.

Теперь у нас все относительно хорошо, хотя сначала было очень тяжело и трудно. Ну, да что же об этом размазывать! Повторяю, *теперь* стало легче: по крайней мере, все на чем-нибудь остановились и впереди виден исход.

Теперь предстоит подать прошение Мануйлову[97] о командировке на второе полугодие. Если это осуществится, то

предстоит отъезд в Декабре. Это будет нелегко и тебе, и мне, но все же это легче, чем на год, а *для души,* для спокойствия совести, для равновесия и прекращения раздвоения это, увы, необходимо. Ты не можешь себе представить, как я тебе благодарен за то, что ты с этим миришься, и насколько ты мне от этого становишься ближе и дороже, если ты еще можешь стать мне дороже, чем ты есть.

Получил письмо от Струве. Он пишет между прочим: “обидно, что такой флаг, как “Моск<овский> Еженед<ельник>”, оказался спущенным”[98]. Мне не столько обидно, сколько жалко: уж очень много хорошего связано для меня с этим флагом. Конечно, флаг не пропадет; но жалко целой дороги, теперь оконченного цикла жизни. Жалко наших с тобой там переживаний; жалко и независимо от наших отношений многого, особенно вторничных собраний, всегда столь интересных.

Нужно, чтобы по крайней мере в будущем из этого что-нибудь выросло. От всей души надеюсь, что это будет не уничтожение, а превращение. А пока прощай, моя дорогая. Крепко тебя целую. Я совершенно здоров.

58. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

Ангел милый, радость моя! Не могла дождаться сегодняшнего дня, чтобы писать тебе. Я сама себе назначила написать в субботу и послать в воскресенье. Это было нелегко, так и тянуло писать без конца. Вся душа, все существо мое переполнено тобой, мой драгоценный друг. Дай только Бог, чтобы мое лишение принесло у тебя хотя какое-нибудь успокоение, избавило бы от лишней боли. Если бы ты знал, как мне хорошо, как я много чувствую сил в душе, как много бодрости и веры. Надеюсь всем сердцем, что и ты бодр и спокоен, мое сокровище дорогое, Господи, какая радость возможна в жизни, как нужно мне быть благодарной Богу, что Он мне посылает такие волшебные минуты, когда не веришь, что живешь на земле, когда реально, совсем реально чувствуешь, что летишь на небеса. Я знаю, что эти минуты дают силы выносить жизнь, они преображают душу, подвигают ее, пробуждают в ней все лучшее! Я теперь знаю минуты настоящей, безбрежной радости! Дорогой мой, светлый мой, лучезарный друг! Как я верю, что все будет хорошо, что будет победа, что всегда будет радость! Будь ты спокоен, бодр и верь, тогда все у тебя будет тоже хорошо! Я много мечтаю о будущей зиме и вижу, что она будет очень хорошая и серьезная для меня. Бог мне посылает большую помощь тем, что дом продался (а он

окончательно продан). Это невольно заключит мою жизнь в более интимную рамку, меньше будет суеты, меня больше оставят в покое внешние люди. Совершенно спокойно и отговариваясь квартирой я могу избегнуть многого утомительного и берущего силы. Все силы я сосредоточу на работе внутренней, как душевной, так и по созиданию серьезных дел для своей жизни. Ко всему этому я просто рвусь душой, лишь бы мое солнышко не покидало меня надолго, а сияло бы и всходило бы на моем горизонте и освещало мой путь! Побольше и поглубже должна я развить в своей душе то начало добра, которое Бог мне раскрывает в жизни! Сохранить и оберечь мое сокровище — вот задача! Вчера получила грустную записку от Струве по поводу окончания “Еженедельн<ика>”. Напоминание об этом меня огорчает до слез, очень, очень это больно вообще. Он пишет: “спущен флаг, и это отзовется больно в душах тех, для кого этот флаг символизировал нечто важное и дорогое”(99). Это меня задевает за живое, и с этим я не примирюсь! Пусть “Еженедельник” кончен, но я верю, что хотя в другой форме, но это дело — наше дело — будет жить и флаг вовсе не спущен. Нет, “дело” должно быть и будет! Вчера был Шварц — он мне и Мике очень понравился. Умный доктор с западными приемами. Все, что он сказал, правильно и очень многое мне объяснило. Слава Богу, ничего опасного, вообще никакой болезни он не нашел. Все в нервах и артритизме [?], необходим строгий режим. — Ради Бога, милый друг, напиши мне обо всем. Хотя в общих словах I о своем здоровии и настроении, II о настроении В. А., III о Ваших планах на зиму, есть ли что-нибудь новое или есть ли уже решение. Ради Бога ответь на эти три вопроса скорее, жду очень, очень нетерпеливо. Очень, очень, очень прошу, шевельнись и откликнись, ответь! Но только ответь на все три вопроса, а то ты всегда забываешь. Надеюсь, что завтра получу от тебя словечко! Ну, будь здоров, спокоен! Я погружена в чтение твоей рукописи! В следующий раз, когда окончу, напишу все свои размышления. Пока крепко, крепко целую и надеюсь!

Твоя Гармося.

Мы нашли квартиру на Знаменке, по моим требованиям лучше желать нельзя [100].

На будущей неделе еду в Москву для совершения купчей. Надеюсь 20-го августа еще быть в Москве и увидеть одного милого, грозного человека! Получила милое письмо от Левона. Он хвалит “Еженедельн<ик>” за лето[101].

59. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[12 августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

2е письмо

Дорогой и милый друг! Получила твое письмо и нашла в нем ответ на все мои три вопроса. Слава Богу, с души свалился страшный камень. Я глубоко счастлива, что Вы не едете на всю зиму. Это вполне правильно и хорошо во всех отношениях. Ты увидишь, что все пойдет к лучшему. Только не горячись и не требуй всего сразу, не приходи в ужас от каждого пустяка и не подписывай сразу каких-то отчаянных и безнадежных резюмэ. Также вот отъезд на 4 месяца зимой меня пугает: комкать свой курс и беседы со студентами и уезжать Бог знает куда и зачем на так долго. Это не может меня очень радовать, даже очень, очень огорчает. Тем более когда еще не известно ничего — а вдруг все пойдет лучше, В. А. будет гораздо спокойнее и это все ни к чему! Ужасно боюсь этого! Конечно, мой друг, я тебе высказываю *мои* мысли и чувства! Делай все как хочешь! Если ты видишь, что для спокойствия В. А. это необходимо, что иначе оно не будет достигнуто, то, конечно, нужно поехать тебе, а мне молчать и покоряться. Я только прошу тебя ничего не делать сгоряча! Ну да вообще это твое дело. Слава Богу, если все теперь благодаря этому решению стало лучше. Очень, очень я счастлива за тебя, а то у меня также постоянно болит душа обо всем этом. *Лично* же у меня наоборот очень, очень много хорошего в душе, много надежд и планов, и большой подъем сил я чувствую. Как бы мне хотелось, чтобы и ты наконец перестал так страдать и отдаваться каким-то сомнениям! Сколько у тебя впереди прекрасного, какая светлая, яркая задача. Я очень была тронута, что ты с чувством говоришь о “Еженедель<нике>“, а главное, выражаешь надежду на то, что *будет* дело, что *наше* дело вновь воскреснет, хотя в другой форме! Боже мой, да это *единственная* моя вера и надежда! Вся цель, весь смысл всего прекрасного, что мы с тобой переживаем, все в этой вере и надежде: должно быть дело вместе, общее живое дело — и будет! Я все положу на это — лягу костьми. На весь этот будущий год я смотрю как на переходный, необходимый, чтобы поставить и укрепить, как каменную крепость, *все принципы житейские* между нами и тем наконец приобрести *настоящую* свободу отношений. Без жертв это невозможно, и перед ними я преклоняюсь. Все жертвы не возьмут силы, а удесятерят их — этого я не боюсь. Не нужно только напрасных, бесплодных лишений — этого я никогда не признаю. Тут мы будем вечно с тобой сражаться! Ну да ничего, это сраженье не врагов! Ты не можешь себе представить, как я мечтаю о будущем деле, к которому я буду теперь готовиться. Я вижу, что ты неизбежно будешь его делать со мной, если не запрешься исключительно в свой кабинет и университет. Я надеюсь на это

всей душой, потерять эту надежду для меня — потерять все. Ради Бога, мой друг, не забывай этого. Ты веришь, я надеюсь, что я вынесу твой отъезд, если он будет нужен, и не упаду духом, потому что я верю, что он не может разрушить главного для меня. Я буду бояться конечно только напрасной потери твоих сил, времени и ущерба твоему делу и *ужасно* буду тосковать по тебе. Неужели В. А. не успокоится через некоторое время, убедившись, что ее семья ничего не лишается, что ты всегда с ней и с детьми, никуда не уходишь! — Сегодня надеюсь получить письмо от тебя, очень нетерпеливо жду! Я счастлива, что ты здоров, Шварц мне говорил, что твое здоровье очень хорошо, только ты очень нервен. Это верно! Я очень этим всем довольна. Во всем решительно я никакого ущерба для тебя не наблюдаю, наоборот, все прекрасно. А в будущем будет еще лучше! Одно только и очень важное — это успокоить В. А., и опять-таки я в это верю. Ради Бога, мой друг, будь покоен, работай и верь всему светлому. Надеюсь 20^го^тебя видеть? Напиши об этом, т. к., в сущности, это меня в настоящую минуту *очень*интересует. Надеюсь, что увижу тебя. Напиши, производит ли хотя какое-нибудь действие, что я пишу редко.

Твоя Г.

60. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 августа 1910 г. Бегичево. В Михайловское.]

№ 3

14 Августа 1910

Милый и дорогой друг

Не удивляйся, что я пока не назначаю точно дня моего приезда в Москву. Вероятно, придется приехать не 20^го^, а несколько позднее. Только в Четверг 19^го^ Августа Мануйлов увидит гр. Камаровского (декана), и, следовательно, только в тот день выяснится, когда будет назначено заседание. Очевидно, оно не может быть назначено на другой день!

Сейчас с большим подъемом перечитал твое *единственное* письмо после нашего последнего свидания; с нетерпением жду второго.

Много думал по поводу этого письма о твоей и моей московской жизни. Перемена — громадная. Закрытие “Еженедельника” и твой переезд будут иметь последствия неисчислимые, и хотя это и трудно, но, надеюсь, будет хорошо и для тебя и для меня. Перемена квартиры в самом деле даст тебе возможность зажить по-новому. Что же касается “Еженедельника”, то грустно и жалко всего хорошего, что есть в прошедшем; грустно, что не будет наших собраний и особенно наших заседаний там вдвоем; жалко комнаты с портретами, с

Васнецовым и Бёклиным[102]; но в смысле *дела* не могу не сказать, что “Еженедельник” для меня уже прошедшее: *теперешним* моим задачам и настроениям он не соответствует. Писать о чем-либо *текущем* я сейчас не могу без насилия над собою, которое не окупается результатом! А если так, то зачем же я стану наполнять “Еженедельником” твою жизнь. И твои силы, твое время и средства должны послужить чему-нибудь другому, более соответствующему потребностям времени.

И опять-таки я думаю, что с точки зрения объективной (помимо наших личных обстоятельств и чувств) прекращение “Еженедельника” — не простая случайность. Если бы он оказывал глубокое влияние и был необходим, мы, вероятно, нашли бы способы его продолжать. А что он не влиял — это обусловливается не одной общественной психологией, но причинами более глубокими. Чтобы оказывать глубокое духовное влияние, мысль должна очиститься и углубиться. Должны зародиться новые духовные силы. Нам нужно не дилетантское богоискательство Бердяева и не постное масло Булгакова, а нечто более глубокое и сильное. Публицистика, как я ее понимаю, должна питаться философией и углубленным религиозным пониманием! Стало быть, философия — первая задача, а публицистика вторая или даже третья![103]

Наши настроения, — спокойные и хорошие. Мое — ужасно углубляется. Со страхом, с робостью перед великой ответственностью пишу главу о богочеловечестве и чувствую, что необходимо в это уйти с головой. Работаю много и с величайшим наслаждением. Это — главное; ничего существенного от тебя не таю; в общем, стало легче.

Ах моя милая, родная, какое блаженство будет, когда станет совсем легко. А легко может быть только с тобой, благодаря твоим и моим усилиям, а больше всего — благодаря Богу, если Он даст сил и мудрости.

До скорого свидания, бесценный и дорогой друг, целую тебя крепко.

61. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[17 (?) августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

3е письмо

Дорогой мой, милый мой ангел! Какая досада, что заседание не состоится 20го. Я так радовалась возможности тебя скоро повидать! Дай Бог, чтобы оно состоялось 21го или хотя 23го. Как я ни сдерживаю себя, но признаюсь тебе, что *очень* хочу тебя видеть. Почему ты не получил моего 2го письма, я его послала 12го? Известие о том, что ты послал прошение, а следовательно,

отъезд на несколько месяцев состоится, меня сразило! Как я ни подготовляла себя ко всякому возможному решению с твоей стороны, но я только теперь поняла, как я надеялась, что отъезд как-нибудь не состоится. Конечно, это лучше, чем на всю зиму, но все-таки это грозит четырьмя месяцами, чего доброго! Как я молила Бога, чтобы *это* горе меня миновало! Это известие поразило меня в самое сердце, как что-то неожиданное! Одно рассуждать и думать, другое — переживать. Я так страдала эти дни, что даже заболела! Сейчас привела сама себе много очень строгих, разумных доводов, и опять силы поднялись и я чувствую себя опять покойно и бодро! Пожалуйста, не тревожься этим, мой милый дружок! *Требую* даже, не смей жалеть меня! Пишу тебе это не для того, чтобы жаловаться, а чтобы ты знал все, что я переживаю, знал, *как я* борюсь с собой и, следовательно, как сильно во мне желание, чтобы тебе было хорошо, чтобы все было хорошо! Радуюсь, что у Вас стало лучше! Слава Богу! Надеюсь, что твое решение и отъезд принесет серьезное успокоение и, главное, прочное, так, чтобы его не нужно было повторять! Как я счастлива, что ты хорошо работаешь и пишешь о таком важном. Действительно, по-моему, самое интересное и важное — это о Богочеловечестве и еще о мистическом познании. Я очень обстоятельно, много раз прочла твою главу о теоретической философии[104]. Так хорошо все объяснено и установлено твердо, так хорошо все это расчищает путь и подготовляет почву для исследования самого главного. Прочтя все это, чувствуешь потребность получить ответ и углубиться в вопрос о мистическом познании, единственном истинном познании. Каково оно, каким же образом происходит оно в нас? Страшно интересно, что ведь в нем участвует воля, действие, подвиг. Хорошо бы не только это установить, но и проникать в глубину этой тайны, пробираться в ее плоть и кровь. Что ты обо всем этом думаешь и что напишешь? По этому поводу посмотри III[10]главу у Бергсона (о Смысле жизни), он говорит много интересного, по-моему[105]. Я в восторге от того, что Эрн говорит в своей статье против “Логоса”, об “отсутствии систем у Русск<их> мыслителей. Всякая система лжива, плод кабинетности (!!!!). Соловьев призрачен там, где он оставляет путь интуиции, обольщается миражем систематичности(106). *Как* я с этим согласна! Этот ужасный, гибельный диалектический метод, мертвое начало, потому всегда все, им созданное, гибнет с течением времени. Бессмертным остается то слово, которое сказано из глубины мук души, пережито, хотя и могло современникам казаться непоследовательным! Конечно, если в нем была правда живой души, то оно неизбежно глубоко *логично*. Самое-то важное, что

оно не создано логикой, а явилось результатом действия и страдания, как откровение! Вот суть того, что *н а д о,* что не должно быть дилетантск<им> Богоискательством Бердяевых и Булгаковых, но ему мало быть и *философией,* хотя бы и прекрасной. Должно быть *живое искание, живое дело, прекрасная жизнь!* По-моему, кроме этого надо написать новую теорию познания, *динамическую*теорию познания, как хорошо сказано у Эрна[107]. Кажется, у Соловьева есть только намеки на это, но нет чего-нибудь определенного, правда? Ужасно меня волнует и интересует, как ты напишешь обо всех этих самых глубоких вопросах, которые составляют суть души Соловьева, что ты скажешь и как наметишь путь? До свиданья, радость моя, надеюсь, надеюсь, до скорого! Жду известия. Целую крепко. Лучше пошли телеграмму.

62. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[21 августа 1910 г. Михайловское. В Бегичево.]

4е письмо

Суббота

Милый друг! Спешу сообщить тебе, что я переезжаю совсем в Москву, в понедельник 23го августа, мне необходимо устраивать квартиру. Пишу это, т. к. сомневаюсь, что твое заседание состоится теперь, а следовательно, до 31го или 1го мы не увидимся. Пиши мне в Москву, на Смоленский бульв<ар>, до 10го сент<ября> мы еще в доме остаемся. Вчера получила твое письмо. Напрасно ты беспокоишься, что я тебя в чем бы то ни было собираюсь уговаривать. Будь совершенно спокоен и верь *моей дружбе,* она неизменна по отношению к тебе. Уезжай, мой друг, если это тебе необходимо и так тебе говорят твои чувства, разве я могу тебе в чем-нибудь не помочь как друг. Как мне жаль, что ты так страдаешь, такое мучительное раздражение переживаешь. Я далеко не думаю, что это “пустяки”, а вижу, что нужно всячески стараться, чтобы этого не было больше. Для этого я все сделаю, чтобы ты успокоился. Про себя скажу, что все это время глубоко грустила о распадении милого и дорогого дела, нашего кружка и собраний в “Еженед<ельнике>”, и отчаивалась в душе найти возможность продолжения этого дела, хотя в другой форме, конечно. Но вот эти дни очень, очень была утешена, очень во мне подняли дух письма многих и, главное, Сергея Андреевича(108). Хочу верить, что сама жизнь идет мне навстречу, не напрасно, может быть, потрачено столько сил, веры и жертв, что-нибудь живое у меня, может быть, останется, живое в том смысле, как я его люблю и верю. Надеюсь, что нам с Серг<еем> Андр<еевичем> и с другими удастся сохранить

отношения, завязавшиеся в нашей редакции, и продолжать это дело, найти ему новое русло. Будь покоен, ни продолжения “Ежен<едельника>”, ни твоего какого-нибудь председательства или редакторства *не будет,* все это отклонила и писала Серг<ею> Андр<еевичу>, что тебе надо писать и уехать. Одна только мысль о любимом деле меня может теперь воодушевить и заставить не потерять энергию и силы.

Надеюсь, ты получил мое 3[e] письмо. Какая досада вышла с моим конвертом, я их все выбросила. До свиданья, мой друг, надеюсь, до скорого. Извести, когда приедешь. Будь совершенно покоен!

63. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Между 22 и 26 августа 1910 г. Бегичево. В Москву.]

Милая, родная и горячо любимая Гармося

Ты не можешь себе представить, какою радостью наполнило мою душу твое последнее письмо. Точно сноп света в нее ударил, и такой нежностью я наполнился к тебе. Это со мной всякий раз бывает, когда я не то что умом пойму, а осязательно, своей душой почувствую твою дружбу, твою жертву, твою глубокую ко мне любовь. Ах, как я тебя люблю, моя дорогая, как особенно люблю в эти минуты. И что ты ими делаешь со мной! Вдруг какой-то тяжелый камень спадет с души и легко становится. Ты не знаешь, моя дорогая, сколько в этом камне тоски по тебе и какой я вижу просвет, когда вдруг чувствую тебя без камня, чувствую возможность светлой, хорошей и любовной дружбы с тобой в согласии с моей совестью и с общим делом!

Как мне хочется за это порадовать тебя. И порадую. Вот прочитай отдел “Печать” в “Речи” за воскресенье 22 Августа, что там говорится по поводу прекращения “Еженедельника”[109], и порадуешься. Увидишь, что мы с тобой недаром работали. — И поработаем, Бог даст, еще: потому что наше направление нужно. Но ни минуты я не раскаиваюсь в прекращении самого “Еженедельника”. Во-первых, когда мы временно исчезнем, нас больше оценят. Пускай о нас “потерявши плачут”. Во-вторых, воскреснуть нам подлежит в новом виде: форма “Еженедельника” обветшала. “Вехи” имели огромный успех, хоть они питались крохами с нашего стола. В чем тут разгадка? Да в том, что сборник издается, когда есть возможность что-нибудь высказать, а в еженедельном издании наоборот, многое пишется только для того, чтобы наполнить номер. Если мы с нашими идеями освободимся от лишнего балласта и станем писать только в меру нашей собственной потребности высказываться, то очень может быть, что мы возродимся — в форме ли периодических сборников

или чего другого, я не знаю, — но непременно возродимся [110].

Жить в Москве и не делать какого-нибудь общего дела с тобой для меня невозможно! Но сейчас и пока тебе большое спасибо за отстранение меня от “редакторства, председательства” и т. п. Милый, дорогой и добрый мой друг! Ты понимаешь, что мне в данную минуту нужно. Ты все понимаешь своей нежной, любящей и чуткой душой. Спасибо, моя дорогая, хорошая. Крепко тебя целую.

Получила ли ты мое последнее письмо из Оболенского или оно там застряло? Я там пишу, что наше заседание будет только 3го и что я буду у тебя около 8 вечера 31го. До скорого свидания. Целую еще раз.

64. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[23 декабря 1910 г. Берлин. В Москву. Конверт и бумага: Berlin, N.W. Neustв dt. Kirchstr. 6/7. Continental Hotel.]

Берлин 23 Декабря[111]

Милая Гармося

Чтобы не забыть, начну с делового. Доктор по болезням сердца, которого я тебе рекомендовал для Мики, — *Prof. Kraus,* живет в Берлине, Brь ckenallee, 7. На дому принимает несколько торопливо; будет основательнее смотреть, если ты позовешь его в гостиницу.

Еще вот что: ты забыла заплатить счет Прагеру (Buchhandlung Prager, № 21, Mittelstrasse, zwichen Friedrich and Neustadt Kirchstrasse) около 219 марок. Пошли ему банковым переводом около этого.

А теперь, оставивши эти глупости, поговорю с тобой по душе и сообщу все тебе интересное.

Первое — наше здоровье — слава Богу. У Верочки, к счастию, ничего органического, хотя нервная система в ужасном состоянии. Во мне не найдено ничего плохого, но Boas хотел было на возвратном пути засадить меня в свою санаторию, но на мой энергичный протест немедленно сдался и засадил на 6 недель на строжайшую вегетарианскую диэту. Это сейчас вполне соответствует моему настроению, которое и без того вегетарианское; как и почему, — тому следуют пункты —

Вчера вечером в день приезда в Берлин пошел с мальчиками шататься по улицам, — от нечего делать(112). Зашли в театр-синематограф, и там неожиданно я получил такое сильное впечатление, что даже заболела грудь, напала тоска и до сих я не могу отдышаться от кошмара.

Среди плоских немецких витцов и добродетельных мелодрам вдруг одна правдивая и реальная сцена. Просто — внутренность

аквариума — жизнь личинки хищного водяного жука, а потом самого жука, — все это увеличенное во сто раз, так что личинка (с надписью sehr gefrd ssig) имела вид огромного живого дракона, который с четверть часа пожирал всевозможные живые существа — рыб, саламандру и т. п., которые отчаянно бились в его железной челюсти.

Я не могу представить себе более наглядного и ужасного изображения бессмыслицы *естественного* существования. Это та неумышленная, беспощадная и бесплодная борьба за существование, которая наполняет всю жизнь природы с тех пор, как есть животный мир. Ты не можешь себе представить, как сильно я в эту минуту ненавидел пантеизм и хотел *убежать* из этого мира. Редко так сильно ощущал “афонское” настроение. Может ли быть клевета на Бога гнуснее той, которая утверждает, что *это* божественно!

Ужас мира, покинутого Богом, подчеркивался неимоверной бессознательностью и пошлостью немецкой обстановки, особенно кельнерами, которые предлагали “rafraichissements”, пока дракон пожирал свою живую еще добычу, и музыкой, которая неизвестно зачем этому аккомпанировала сентиментальными аккордами. Второй день у меня от этого болит все нутро, — противно думать о себе самих, т. е. о людях, потому что наши бойни, а тем более войны, разумеется, — та же сущность в менее жестокой и безобразной форме[113].

Когда же на другой день после этого Боас прописал мне вегетарианский режим, то это было словно продолжение того же назревшего хода мыслей. Точно организму вредно то, что ненавистно душе! Между прочим, и Соловьев был вегетарианцем.

Вообще ужасен этот мир. Как только начнешь его утверждать, так сейчас же станешь этом самым водяным жуком, будешь безжалостно жрать и уничтожать чужие жизни, и животные и людские! Вообще “любовь к миру” — противоречие; между настоящей любовью и этим миром нет ничего общего. Любовь — такой сдвиг, который ничего не оставит на месте в этом мире. В самом своем умопостигаемом корне она ему противоположна! Правда, дорогая? Все разрешение жизненной задачи в этом огромном и мощном повороте жизни в любви к любви. Вся ценность любви — в мире ином! Но Боже мой, как это трудно! Какого подвига требует любовь; и какая ложь — любовь без подвига. Какая правда в том, что Зигфрид должен подыматься в гору, чтобы достать *из огня* свою Брюнгильду![115] Вагнер несомненно ощущал ту любовь, которая *на границе* здешнего.

Милая и дорогая моя Гармося, не бойся подвига и не страшись этого огня, хотя бы он сжег и многое, что *кажется*

дорогим!

Не тоскуй, моя родная: чем больше он в нас сожжет здешнего, тем ближе мы будем друг к другу. Пусть соединит нас и спаяет нерушимое, вечное. Христос с тобой.

Целую тебя крепко.

Завтра еду в Рим — Ах как бы хотелось хоть одним глазком на тебя взглянуть!

65. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[24 декабря 1910 г. Москва. В Берлин.]

24^е^ дек<абря>

Здравствуй, мой дорогой, милый Женичка. Прости, что я так скоро пишу(116). Во мне происходит целый день сегодня борьба: хочется ужасно написать, а с другой стороны, боюсь. Через некоторое время постараюсь взять себя в руки и в этом. Пока не могу, неудержимо хочется поблагодарить тебя за твое дорогое, чудное письмецо! Милый мой, дорогой мой, прекрасный мой, спасибо тебе за него! Как оно нужно мне! Пиши чаще, моя радость, хоть словечко! А если бы ты посмотрел в мои глаза, то сколько любви, сколько самой нежной, самой страстной, самой бесконечной любви ты увидал бы в них! Моя радость, мое утешение — ты! Не забывай меня, Женичка, умоляю тебя! Ах как я боюсь, что ты меня забудешь, отвыкнешь от меня, я тебе стану чужая! *Все* сделаю, но только чтобы этого не было, чтобы не допустить этого! Как я была счастлива получить твое письмо, если бы ты знал! Я живу, думаю и делаю все, все так, как если бы ты все время стоял передо мной, все слушал, все видел, все знал, и я знаю, что ты был бы доволен мной, мой ангел бесценный! Бесконечно счастлива тем, что ты бодр и что сознание того, что ты делаешь, успокаивает твою дорогую, чудную душу! Надеюсь, ты скоро начнешь работать и не слишком увлечешься беготней и суетой. Дай Бог, чтобы это пребывание принесло В. А. успокоение и тебе тоже отдых, сокровище мое! Утром и вечером крещу тебя и молю, чтобы все было хорошо, но молюсь, чтобы и меня ты не забыл.

Твоя Гармося.

66. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[27 декабря 1910 г. Рим. В Москву. Из Рима в Москву.]

Roma, Via Tritone, 36, Pensione Lomi

27 Декабря

№ III

Милая и дорогая Гармося

Ты не можешь себе представить, как я был обрадован здесь

первым твоим письмом от 23го, написанным в таком хорошем настроении! Сегодня — Понедельник — ровно неделя, как мы расстались; и столько разных мыслей мимо меня промчалось. А я так же, как и ты, — еще *не верю* в разлуку, т. е. душа моя еще не понимает, что мы с тобой расстались на такой *долгий* четырехмесячный срок. Что это такое? И даль и близость чувствуются в одно и то же время. Иногда мне кажется, что ты вот тут — рядом со мной, и хочется заговорить с тобой. А иногда мучительно чувствуется отдаление…

Это бывает, особенно когда испытываешь какое-нибудь сильное переживание. Слишком привык я делить с тобой всю мою духовную жизнь. А когда вдруг этого нельзя, становится тоскливо и больно.

Вот хоть, например, сегодня видел я с мальчиками Сикстинскую капеллу — фрески Микеланджело, а потом с высоты и чудную панораму Рима — с Апеннинами, покрытыми густым снегом (вещь исключительно здесь редкая). Я сильно был взволнован и потрясен этой красотой: в моей душе воскрес целый мир, который я переживал много лет назад; и я бесконечно обрадовался тому, что этот мир во мне уцелел; обрадовался, между прочим, и контрасту, потому что рядом с этим Рафаэль почти перестал для меня существовать[117]. Но все это мне тотчас же напомнило, что весь этот мир, который так глубоко во мне засел — Италия, ее искусство и природа, — мир, *не разделенный у* меня с тобой, и меня взяла тоска!

Сколько угодно могу говорить о нем с тобой словами, но этих красок, этого ослепительного сияния солнца, этого творчества, живописи, которые переворачивают душу, — мы вместе не переживали. А все святое, духовное, хорошее я хотел бы пережить с тобой, перелить из моей души в твою и обратно! Жизнь наша еще не вошла в колею; вчера устраивались, переезжая в [одно слово нрзб] в пенсион; сегодня, *по-видимому,* устроились окончательно (адрес в начале письма) и недурно. Раскладка только окончена, Соловьев выложен, и я за него принялся, хотя пока еще ничего не написал. Верочка вдребезги разбита *всякою* усталостью, и московскою и дорожною, и моральною и физическою, и пока еще не может наслаждаться. Но я надеюсь на одно: чтобы усталость прошла, нужно, чтобы она *обнаружилась:* в Москве она обнаруживалась, может быть, в меньшей степени, чем здесь, потому что там была против нее напряженная, но поэтому тоже утомительная борьба. Мне кажется, что это — неизбежная detente de nerfs, за которой, если Бог даст, последует и отдых. Только очень скоро его нельзя ожидать: уж слишком она измучилась!

Ну, прощай моя родная, еще раз спасибо за письмо, которое так меня утешило и обрадовало. Крепко, крепко тебя целую.

67. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[29 декабря 1910 г. Михайловское. В Рим.]

29[e] дек<абря>

С новым годом, дорогой мой, от всего сердца желаю тебе быть здоровым!. Будь бодр, работай хорошо, и все, Бог даст, будет хорошо. Посылаю письмо Маруси, она *сама* захотела тебе написать. Ты ей тоже напиши словечко, а то она огорчится. Пишу это письмо из деревни, завтра возвращаемся в Москву. Здесь чудно хорошо. Снег блестит, все обсыпано инеем и залито розовыми лучами солнца. Ночи лунные — прямо волшебные. Мы здесь устраивали елки — у себя и в сельской школе для деревенских ребятишек — очень весело смотреть на их радость. Праздник для меня очень труден сейчас. Прервались обычные занятия издательством и школой и общение со всеми на *этой* почве — невольно много остаешься сама с собой. С детьми очень трудно, никакого успокоения, за исключением Маруси пока. Встреча праздника была очень грустна, сердце разрывает, глядя на Лелю[118], да и самой не легче. Нет семьи ни у нее, ни у меня — мы с детьми не составляем единства, чувствуем и ищем совсем другого. Внешне обоюдно уступаем друг другу, а внутренне и те и другие угнетены. Читаю каждый день Евангелие и много размышляю. Добираюсь до самых глубин, туда, где все лежит и решается “Высшим Светом, где воля Неба”[119]! Как мизерна, как ничтожна наша так называемая *сознательная* воля, как беспомощно *сознание*человеческое, как оно коротко. Как *оно* не знает, *зачем* что-нибудь делает человек, *что* он делает и *куда* он придет.

Маленький у него горизонтик! — Читаю твою книгу “Григорий VII” и *тебя* там ни секунды не чувствую[120]. Все — и посвящение — рационализм и ученость. Это интересно исторически, это прекрасное твое *среднее,* но это не *ты.* Но это грандиозная картина, и я понимаю, что она могла привлечь твой взор как картина. Сию секунду получила твое письмо из Берлина — его привезли из Москвы. Ужасно рада, спасибо, милый, что написал. Пиши чаще — мне очень нужны твои письма. Радуюсь, что здоровье В. А. в основном хорошо. Видишь, как ты все преувеличиваешь! О твоем здоровье думай сериозно и исполняй все, ради Бога. Понимаю твой ужас перед тем, что делает презираемая тобой материя, и твое вегетарианское настроение. Я всегда думаю о вегетарианстве, — соблюдаю посты, но чувствую, что должна идти к цели путем “мирного обновления”[121], еще

чувствую много соблазнов на пути, а то как бы не сорваться — это хуже. Всегда соглашаюсь с тобой, что пантеизм ложь как мировоззрение, но никогда не могу согласиться и всегда скажу, что он не ложь как переживание, как психологический момент. Если, хотя на минуту, не сольешься с хаосом, не погрузишься в него, не познаешь, что такое мир. А для этого необходимо видеть, чувствовать Бога во всем. Ужас охватывает при виде *реальной* картины природы — это правда. Но вот если бы мы не сталкивались с этой ужасной реальностью, не стремилась бы наша душа победить и преобразить этот ужас. Ужасно чувствую и слышу твою душу, мой ангел, это все трубные звуки моего солнечного всадника “оттуда”. До бесконечности жажду, чтобы огнем в тебе горело все горе, все несовершенство мира и твое собственное. Тем больше ты сделаешь, тем ближе ты будешь всему и всем. Одно меня всегда ужасает — это твое стремление перескочить в мир “иной”. Ужасны твои слова, что любовь к миру есть противоречие, — ужасны. Как же, когда любовь к миру есть основа и источник познания и любви к Богу, она свята потому, что только через нее нам дано увидеть Бога. Смысл, завершение любви в мире “ином” действительно, но ценность как раз наоборот. Огонь любви затем и есть, чтобы глубже нас взять к земле, заставить плотью и кровью полюбить жить на земле, слиться с ней, переживать все ее радости, чтобы мы не покидали ее, не убегали от ее ужасов, а оставались на ней и этой любовью спасали ее и себя, что неразрывно связано. “ *Свет из тьмы*

Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их”[122].

Вот мое любимое!

Конечно, должен быть подвиг, но я понимаю, подвиг жизни на земле, через расцвет всех сил и всей красоты. Отдача себя миру и жизни не во имя свое, конечно, а во имя торжества света для него и для себя. Нет, я всегда приду к другому, чем ты. Лишь бы *искренно* и *свободно* идти, лишь бы было *подлинно* то, к чему пришел, чтобы нашел человек самого себя в этом — тогда не будет убит ключ жизни в душе и не будет она бесплодна. Не только в природе чтобы не было убийства и насилия, но и в духе чтобы его не было! До свиданья, мой дорогой! Пиши скорее. Целую тебя крепко и нежно.

Твоя Гармося.

1911 год

68. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[5 января 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 6

5 Января 1911

Милая моя, дорогая и хорошая

Гармося, спасибо тебе за твое дорогое и хорошее письмо из деревни. Оно меня успокоило и потому, что твой отъезд в деревню объяснил мне промедление в письмах, и потому, что я из него увидал, что мое берлинское письмо не чрезмерно тебя взволновало и огорчило. Это я особенно рад, потому что это мне ужасно развязывает язык, чтобы говорить с тобой в письмах *безбоязненно,* как я говорю с тобой с глазу на глаз.

Вот ты пишешь про “любовь к миру”, что это чувство должное. А знаешь ли ты, в чем тут недоразуменье. В том, что *здесь совсем нет мира, а* потому нечего и любить. А то, что мы называем миром, — только порыв и стремление создать мир, пока еще не удавшиеся. Существа, борющиеся за существование, за счастье, за любовь, — не образуют цельного *мира,* а образуют хаос, ведь это две противоположности! Вот ты пишешь про сестру твою Лелю, что она несчастна. Оставляю в стороне сопоставление с тобой, потому что ты — вовсе не несчастна. Но почему несчастна Леля? Все оттого, что *мира нет,* а есть хаос:

она несчастна, *для того чтобы была счастлива другая женщина!* Какой же это мир; ведь мир есть *целое, мир, лад; а* где нет целого, а есть только бесчисленное множество враждующих между собой дробей, там *мира* нет!

А при этих условиях как возможно пантеистическое настроение; как оно может быть правдой, когда неправда самый пантеизм. Ведь переживать Бога значит всеми фибрами ощущать, что этот природный непросветленный мир — *безбожен.*

Говоря о “любви к миру”, ты всегда разумеешь любовь, и именно любовь половую. Но на высших ступенях своих это чувство и в самом деле *образует* мир, т. е. создает нечто новое, чего здесь в самом деле нет, потому что она приводит к самоотвержению, к победе над эгоизмом и к утверждению “мира иного”. А на низших, средних и вообще *естественных* ступенях половая любовь утверждает все тот же хаос, борьбу за существование. *И горе побежденным.* Закон этой любви тот, что Леля должна быть несчастна, чтобы другая была счастлива, что всякое вообще или почти всякое счастье построено на чужом несчастье. *И горе побежденным.* В мире животном этот закон

наивно выражается во всеобщей *кровавой* борьбе из-за обладания любимым предметом. А у людей — сердечные муки, которым часто предпочитают смерть.

Если “погрузиться в мир” всецело, то нужно воспринимать весь мир *целиком, а* не небольшой уголок, где встречаются две любящие души. А чувствовать и воспринимать *целиком весь* ужас всеобщей беспощадной и не прекращающейся борьбы, составляющей *здешнее,* к счастью, никому не дано: иначе бы люди не вынесли жизни: только оттого мы ее и выносим и любим, что не слишком погружаемся в “мир”, а или смотрим на него поверхностно, или воспринимаем *“мир иной”.*

Я увлекся спором с тобой и забыл, что ты можешь подумать, что мое настроение очень мрачное! Совсем нет, ангел мой дорогой, милый и хороший! Душа полна нежности и ласки к тебе и любовью. Но люблю я тебя по-своему и люблю твой дорогой образ — *в мире, там, где в самом деле есть мир.* И хочу от души, чтобы твоя душа утверждалась там, т. е. в мире, а не в хаосе. Пусть хаос вылетит в дымовую трубу, где он шумит! Прощай, моя дорогая. Целую тебя крепко.

69. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 5^{й} 7reянв<аря>

Милый и дорогой мой Женичка! Очень хочется написать тебе сегодня о моей жизни, впечатлениях и событиях. Какой ты гадкий, мой друг, что так мало пишешь! Олимпиец ты этакий, гербарий ты неисправимый! Не сердись, ангел мой, я очень добродушно браню тебя, но не бранить тебя нельзя. Про мое настроение скажу тебе, что оно в общем светлое, тихое и доброе. Очень, очень важно мне получать от тебя письма, и потому особенно я нахожу эгоистичным с твоей стороны, что ты мало пишешь. Ты понимаешь, как каждая твоя строчка поддерживает мне душу. Часто просыпаюсь рано, всегда думаю о тебе, плачу и тоскую, но мрак и отчаяние *редко* охватывают. Как-то, где-то есть много веры и надежды! Бывают минуты мрака, конечно, но еще чувствую себя в силах пока. Что будет дальше, не знаю! Сейчас я как-то особенно увлекаюсь чтением Евангелия и чувствую неудержимое влечение к философии. Вообще тянет ко всему объективному, отвлеченному, хочется погрузиться в сферу мысли. Философия всегда была моей спасительницей и убежищем в трудные минуты. Видишь, что кроме тебя у меня есть спаситель, и единственный, к которому я советую тебе меня ревновать! Хотя ты гордо мне объявил, что я тебя ничем не испугаю. Но к этому я тебе не советую относиться с презрением — это неуловимый соперник, но вовсе не безопасный! Думаю начать с моего милого

Канта. Перечту <Крит<ику> пракгич<еского> разума", потом хочу прочесть "Микрокосм" — Лотце[123], и Гегеля после! Что ты думаешь? С увлечением приготовляюсь взяться за это. Как видишь, некоторый запас огня будет перенесен на эту работу. Я очень озабочена вопросом о поездке за границу с Микой. Он в общем очень поправился. Конечно, я поеду, если нужно, и поеду туда, куда велят. Но *мне* ужасно не хочется ехать. Главное, просто ужасает мысль ехать на юг и к морю — я там с ума сойду! Я могу вынести *весну, юг, море* только с тобой вместе, а одна, когда ты далеко, видеть всю эту красоту и поэзию — гореть, кипеть и быть одной — этого я не могу себе представить. Я там или заболе<ю>, или, что еще хуже, убегу к тебе! Этого я очень боюсь! Будь совершенно покоен, мой друг, что я этого ни за что не допущу. Если уж нужно будет ехать, то поеду куда-нибудь подальше от тебя, подальше от соблазна! Чтоб и духу его не было. Будь спокоен, моя радость, слишком дорога мне твоя душа, слишком люблю я твою милую, светлую душу! Слишком мне хочется, чтобы успокоилась В. А. Пиши ради Бога о ней почаще. Что она, лучше ли ей? На будущей неделе посоветуюсь со Шварцем, и решится вопрос о поездке. Раньше я как-то обо всем этом не думала, когда ты был здесь, а когда тебя нет, то я чувствую, какой огромной силы ключ я в себе заперла, и понимаю, что должна с ним обращаться осторожно. Вообще будь покоен за меня, силы я в себе чувствую немало. Их мне дает бесконечная моя благодарность к тебе и, конечно, к Богу, который послал мне такой светоч. Вот и сейчас хотела написать очень сериозно о моем мудром житии, а не могу быть сериозной, все разливается в какой-то улыбке, хочется прыгать, носиться и вся душа залита ярким, ослепительным сияньем. И все это только от мысли о тебе, оттого, что ты есть, что ты такой прекрасный и что *такая безумная радость будет тебя увидать!* Вот что на дне этой мудрости! А так, видит Бог, что трудно найти человека сериознее и добродетельнее меня. — Ну довольно болтовни. — На днях я пережила сильнейшее впечатление. Я провела вечер с В. М. Васнецовым[124]. Какой это удивительной силы ума и самобытности человек. Сколько в нем жизни и огня. Я была в восторге от него и думаю, что даже больше буду теперь любить его вещи. Больше буду верить в их подлинную, горячую жизненность. Хотя в существе своем он слишком догматичен и тяжел и деспотичен, наверно. — У нас в издательстве — драма. Рачинский совсем болен[125]. К моему ужасу, он избрал меня своим другом и рвется ко мне неудержимо. Слава Богу, сейчас его засадили дома. Пока для дела это неважно, но в будущем, если это не изменится, то придется искать кого-нибудь. К сожалению,

наше дело является для него центром жизни. Все его чувства и мысли вертятся кругом этого всего. Пока мы осторожно его обходим и конфиденциально все с Сергеем Никол<аевичем> решаем[126]. Читаю твоего “Григория VII” — очень интересно[127]. Умоляю тебя написать *подробно о* твоем здоровье, помогает ли вегетарианская диэта, пьешь ли часто соду? Все напиши. Что твоя работа? Если ты действительно будешь работать так, как пишешь, т. е. 6 час<ов>, то это хорошо. Тогда и немного шляться можно. Радуюсь, что ты видишь такую красоту. Я ее как-то сейчас переживаю. Так и вижу Via Appia, и особенно красив вид на Рим против Pinchio. Что ты скажешь об Аполлоне[128]? Неужели он не прекрасен, по-твоему? Действительно живой носитель муз! Вся красота искусства как-то в нем живая и красота человека. Что тебя там особенно сейчас поражает и захватывает? Напиши обо всем, а то я больше писать не стану и настроение изменится. До свиданья, мой ангел, Христос с тобой. Целую очень, очень крепко.

Твоя Гармося.

70. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[12 января 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 8

12 Января 1911

Милая моя хорошая, прекрасная и дорогая Гармося

Так много хочется тебе сказать, что не знаю, с чего начать. Подучил твой № 5 и ужасно доволен твоим настроением, бодрым и даже слегка игривым. Я так надеялся на моего хорошего и милого Ваньку-Встаньку, что ты духом надолго упасть не можешь и сейчас же опять выпрямляешься. С волнением буду ждать, что скажет Шварц про Мику. Я тоже думаю, что для тебя Москва, где ты можешь заняться, — куда лучше, чем Ривьера, где ты обречена бездействию. Волнует меня и вопрос об издательстве и Рачинском. Получила ли Маруся мою открытку? Что касается твоей философии, то крайне удивлен выбору такой рационалистической суши, как Гегель, Лотце же не знаю. Уж лучше прочти ты сначала Куно Фишера — “Историю философии после Канта”. Думаю, что тебе Шеллинг во всяком случае роднее Гегеля.

У меня тут сильные переживания — как-то вдруг и Рим и работа о Соловьеве *сошлись в одно,* и не случайно. Пишу я как раз про соединение церквей и папизм Соловьева и все вспоминаю, что он не был в Риме. А между тем какое откровение Рим о католицизме, как тут каждый камень вопиет о его духе. Вижу я тут громадные храмы — Петра, Павла, Maria Maggiore — все без малейшего религиозного настроения — мраморно-золотые,

великолепные дворцы, выстроенные папами для Бога. На всех сводах папские гербы — сочетание “ключей царствия Божия”, вошедших в герб, — с гербами римских аристократических фамилий, из коих папы выбирались. Обхожу дворцы этих фамилий — Borghese, Colonne Daria-Pamfili — и узнаю в них тот же мрамор и золото, тот же стиль и дух, те же гербы, как во храмах. Выстроили для Бога дворцы, а Бог в дворцах не живет, и народ это почувствовал. Отсутствие молящихся гнетущее, давящее. Сегодня был в соборе Павла в день поминовения обращения Павла. Храмовый праздник, торжественное богослужение. И что же — *не было и сотни молящихся,* меньше, чем у нас в захудалой деревенской церкви в воскресенье, и все больше любопытные из туристов. А собор в 1 1/2 раза больше нашего храма Спасителя, и в нем — торжественный парад духовенства — без верующих. Вот что сделала “Теократия” и та внешняя власть, которую Соловьев считал условием *действующего христианства.*

Сколько раз я убеждал Соловьева поехать в Рим, но он, кажется, просто боялся. А будь он здесь — гораздо раньше кончилась бы его “Теократия” и глубже бы он оценил православие, которое сделало одно великое дело: положило *грань* между мистическим и здешним, не дало ему слиться с мирским, презрело храмы-дворцы и ушло на Афон — созерцать свет горы Фавора, тот самый, что ни в дворцах, ни в хижинах Петровых не умещается.

И этим спасло веру. Ибо что же остается от веры, если вынуть из нее мистическое? Кто поверит в царствие Божие, если ключи к нему — принадлежность папского и аристократического гербов? Вот тебе вкратце, душа моя, мои последние впечатления. Ах, хотелось бы тебе показать все это, чтобы ты это со мной пережила. Всего труднее не делиться с тобой ежечасно всем этим. И читать тебе не могу, что пишу. А теперь — подвожу итог главы и чувствую, что опять выходит что-то значительное, потому что перо волнуется и переживает подъем. Ну прощай, душа моя, крепко тебя целую.

71. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[14 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 7 14 янв<аря>

Дорогой друг Женичка! Как я рада, что мое письмо из деревни не пропало. Сегодня Маруся получила твое письмо и я получила № 7-й, спасибо, милый друг, за оба твои письма. Маруся также очень обрадовалась. Посылаю тебе повестку на заседание философск<ого> кружка сегодня. Теперь

предполагается целый ряд рефератов кружка. Я очень рада, что эти собрания сами собой возрождаются, без моего усилия. Значит, они нужны[129]. В эти дни много думаю о планах школы, о способах внести и создать в ней дух, соответствующий нашему направлению[130]. Пока это все еще очень неопределенно, потому тебе не сообщаю. Как только что-нибудь выяснится, сообщу тебе. Делать что-нибудь по заведенному и заведомо ложному порядку — не хочется и начинать. Хочу верить и надеюсь, что удастся внести и воплотить что-нибудь свое, особенно дорогое. Очень радуюсь, что ты доволен изданием Киреевского и что он так нужен. Вот когда мы соберем *всех* русских мыслителей, то можно подумать и об изданиях для народа. Вот два очень важных и нужных дела. Сейчас мы обдумываем сборник Соловьева. Напиши мне, *какие две*твоих статьи пустить? Если первой твою первую главу книги (характеристику), то мне нужно дать тогда мою рукопись? А второй поместить то, что ты читал в Психолог<ическом> Общ<естве>? Так целиком, или ты там что-нибудь переделаешь? Все это нужно знать скорее, т. к. скоро начнем печатать сборник[131]. Волжского в нем не будет»(132). Я совсем поправилась и чувствую себя хорошо. Настроение покойное. Я радуюсь, что твоя работа идет. Надеюсь, что В. А. теперь будет отдыхать как следует. Как это у тебя нет *твоей*комнаты, не мешает ли это тебе и не утомляет ли? А как здоровье? До свиданья.

Крепко целую.

72. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[17 января 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 9 17 Января

Милая и дорогая Гармося!

Все мои попытки найти в Риме спокойствие для Верочки и для меня рухнули внезапно и совершенно неожиданно. Я чувствую себя точно раздавленным. *Верочка все узнала* сама, каким-то ясновидением, с такою точностью, что даже определила срок и прямо указала на прошлую *весну, когда* это произошло. Она все угадала по внутренним переменам в моей душе, все чувствовала, о *какой тайне* я умалчиваю, но не решалась сказать из-за сомнений. И в этом причина, почему ничто не могло помочь ее душевной боли. Вдруг вчера прорвало, и она мне сказала это a bout portant [В упор *(франц.)*.]. Я долго молчал, пораженный громом, а потом *не мог* не сказать всю правду. Все мое нутро восстает против лжи, которая мне окончательно невыносима, а в данном случае и *совершенно* невозможна.

Теперь она в ужасном состоянии, потому что как ни страшно

это внутренне сознавать, услышать подтверждение — все-таки еще ужасней.

Теперь она второй день ничего не ест, больна совершенно; все это пребывание в Риме меня тревожит какой-то сухой, упорный и не прекращающийся кашель.

Дорогая моя, милая, хорошая, из глубины отчаяния моего пишу тебе и молю тебя: помоги мне! Верю в душу твою и в силу любви твоей ко мне, оттого и молю. Я чувствую, что если я все оставлю по-прежнему, то убью ее и погибнет и моя душа. Друг ты мой дорогой, помоги, сделай то, что я тебя просил сделать в минуту жизни трудную!

Пойди к Антонию в Донской; а если его нет — за Троицкой лаврой есть сердцеведец, Алексий, кажется (мой брат Гриша знает). Я дошел до того, что не доверяю больше себе: мне не человеческий нужно голос услышать, а божеский и подчинить свою волю ему. Пусть святой какой-нибудь человек скажет, что тут делать и мне и тебе. Пусть будет нам всем трем Божья помощь.

Я знаю одно, что нельзя больше лгать, надо покаяться и сделать правду. Но как ее сотворить так, чтобы была действительно полная правда? Где то, что спасет и ее, и *твою,* и мою душу? Как дальше устроить свою жизнь, чтобы собственная моя вера не *жгла* мукой и чтоб не строить моего благополучия на таком несчастье. Дорогая моя, мне *нужен* выход, и такой, который спасал бы также и *твою* душу, перед которым бы и ты преклонилась бы.

Ах дорогая моя, береги ты свою душу и не делай ей зла. И не может сделать ей зла то, что ты сделаешь из любви к моей душе. Будь я в Москве теперь, сам бы пошел к Антонию, а теперь не к кому. Но чувствую всеми силами то, что говорил тебе и перед отъездом. Буду говеть перед Пасхой; и если тогда не принесу к алтарю твердого намерения исправиться, в чем грешен, то не будет мне это во спасение. И буду оттого безгранично несчастен. Дорогая моя, — *горячая и страстная любовь* к тебе говорит во мне. Нужно спасти и твою и мою душу. И для спасения не может быть нам нужно разное. Крепко тебя целую.

73. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[19 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 8 19-е янв<аря>

Дорогой друг! Получила твое письмо — 7-е, спасибо большое за него. Ты только ничего не пишешь о своем здоровье, подробностей, как я просила. Что В. А., напиши о ней? Ты наверное знаешь о циркуляре Кассо из газет[133]. В университете

тревожно! Веня[134]говорит, что если возникнут беспорядки, то Мануйлов и К подадут в отставку и тогда начало конца автономии. Если университету придется это переживать, тяжело тебе будет, и особенно там, вдали. Я очень рада, что ты так *живо* переживаешь в Риме все крушение теократии. Это очень важно, может быть, пережив эту картину так сильно, ты напишешь что-нибудь очень глубоко перечувствованное. Вообще дай Бог, чтобы все это время дало тебе как можно больше. Вообще мысль о *грани* между здешним и мистическим — твоя основная мысль и исходная точка твоей критики. Весь твой Соловьев, весь "Григорий VII" на этом построен. Тебе сейчас Рим все это ярко уясняет, а мне очень ярко это все дает твой "Григорий VII". Для философского анализа, для познания — эта мысль о грани между двумя мирами очень удовлетворяет. В самом деле, насколько же не соответствует миру умопостигаемому наш естественный мир. Чтобы разобраться в том и другом, где кончается одно и начинается другое, необходимо строго разграничивать. Но, по-моему, в религиозной сфере это как-то недостаточно. Нельзя служить Богу и мамоне. С одной стороны, презирать мир, предписывать насилием аскетизм, а с другой стороны, бежать за властью, силой, корыстью. Разве может не погибнуть подобное начало само по себе. И очень понятно, что католицизм гибнет, как ты пишешь! В этом смысле, как понимал католицизм, необходимо уйти внутренне на Афон, действительно положить внутреннюю грань между двумя мирами, чтобы спасти святое. Но тут-то и наступает самое важное: *любовью* надо снимать эту страшную грань, надо делать то, что делал Христос. Недаром же он не сидел на Афоне, а дни и ночи бился с людьми. Никому насильственно ничего не предписывал, а путь к свету указал через свободное, внутреннее преображение. В этом смысле православие по духу куда ближе к Христу. Никому оно ничего с ножом к горлу не предписывало и внешнему закону не поклонялось. Чтобы снять эту грань, надо найти совсем особый творческий прием, как преображать душу, как создавать из души и из жизни творческое, прекрасное изнутри и свободное. Это то, что есть лучшего у Соловьева, — *свободная теургия*. Здесь ни чувство, ни мысль не могут остановиться на мысли о *грани*. Здесь грань снимается, и родится новое! Пока это только мечта далекая, но дорогая, и не жаль отдать жизнь, чтобы хотя не терять в душе чувства близости к этой тайне, чувство интимного прикосновения к ней. Этого еще нет в мире, но это будет, и надо идти к этому. Все Евангелие проникнуто этим призывом к бодрствованию, потому что близко, при дверях! Это очень, очень важно. И еще тайна в том, что один человек не в силах стать совсем свободным,

не в силах преобразить свою душу. Это, по-моему, возможно только во взаимной любви и в деятельности всех вместе. Я бы много могла писать об этом, самая моя любимая тема. Как нужно и как мне хочется, чтобы ты нашел этот синтез в душе, не в уме, и все это написал бы так, как я мечтаю! Ты можешь и найдешь форму для этого. Главное искать — и найдешь.

Целую крепко. Твоя Г.

74. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20-е числа января 1911 г. Рим. В Москву.]

Милая и дорогая Гармося

С тех пор, как я писал тебе. в последний раз, прошло несколько мучительных дней, и теперь стало легче нам обоим. Легче оттого, что с души спал тяжелый камень и что я больше не чувствую себя обманщиком; легче и оттого, что прервалось это невероятно тягостное молчание, в котором скоплялось столько душевной боли. *Легче*, но вообще очень мучительно чувствовать себя причиной такого несчастья и такой муки.

Мучительно и тоскливо и по тебе, моя дорогая. Как часто мысль переносится к тебе в Москву и как ясно я воображаю и чувствую все твои мысли, интересы и занятия. И как я молю Бога, чтобы духовная связь между нами и нашими интересами не порвалась, а окрепла. Письма твои — большое для меня утешение и радость. С радостью вижу, что жизнь твоя наполняется. Вижу из твоего № 7 — и заседания кружка с очень интересной программой, и школа (как это ты заведешь там наш дух?), и издательство. Бедный Рачинский меня смущает и огорчает несказанно, во-первых, для него самого, потому что за этими припадками безумия скрывается личная трагедия, а во-вторых, и для издательства. Напиши о нем и как ты из этого выкрутишься.

Окончил небольшую главу об отношении Соловьева к церковному вопросу и славянофилам. Высказал совершенно для меня новую точку зрения на православие и католицизм, чему Рим очень помог. Если удастся найти переписчика, пришлю тебе копию. Думаю пойти к кардиналу Рамполле попросить у него ту докладную записку Штроссмайера о Соловьеве[135], о которой упоминается в письмах Соловьева, т. 1, стр. 192. Тоща напишу тебе, если удастся. Также предстоит возобновление знакомства с Monseigneur Duschesne[136].

Обе мои статьи отдай в сборник для напечатания без перемен, причем 1[я] глава книги должна быть напечатана первой[137]. Ты ошибаешься, что у меня нет *своей* комнаты. Она есть, но в виде крошечного кабинетика с одним столом и двумя стульями, и работается там хорошо[138].

Ах дорогая моя, милая, хорошая и любимая, как я молюсь, чтобы тебе было хорошо, чтобы силы и бодрость у тебя были, и как я тебя люблю, моя ненаглядная. Верю твоей душе и крепко надеюсь, что все светлое в ней восторжествует и что Господь укажет тебе путь.

Крепко тебя целую, моя дорогая.

P. S. Мое здоровье, т. е. желудок, не выше, но и не ниже среднего. В пансионе последовательно выдерживать вегетарианство невозможно, да и не очень впрок.

75. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[23 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 9 23 янв<аря>

Милый Женичка! Глубоко взволновало меня твое письмо вчера. Поверь мне, дорогой, дорогой и милый друг мой, что я всей душой с тобой! Переживаю, перестрадываю все, о чем ты пишешь. Душа у меня очень болит — тяжело. Надеюсь и верю, что Бог поможет и все будет к лучшему. Собираюсь с силами, чтобы писать тебе. Каждое слово этого письма продумано, выстрадано, потому *каждое* слово прочти со вниманием. В сущности, это хорошо, что все так случилось. Меня это не поразило, и я вполне понимаю В. А., что она должна была к этому прийти. Это *единственный* путь, чтобы у Вас наступили более искренние отношения и вообще стало бы легче между собой. Это все к *лучшему,* поверь мне, хотя и тяжело это переживать. Но лгать вообще ужасно, да и ни к чему. На лжи жизни все равно не построишь. Будь же тверд, мой друг, трудно тебе, но верь, что это все к лучшему. В. А. будет постепенно легче, ты увидишь. О здоровии ее не теряй головы напрасно, мой милый, помни, что доктора сказали, что *органического* ничего нет. Все дело в душевном состоянии и нервах. Нужен отдых и успокоение. Как этого достигнуть, ты постепенно увидишь. А делаешь ты сейчас *все, что можешь.* Ты уехал с ней, а не со мной, и с ней останешься, от нее не уйдешь. Не теряй бодрости духа и будь покоен, что ты все делаешь. Я всю эту ночь переживала В. А. Если бы я могла прийти к ней, как-нибудь успокоить ее, хорошо поговорить с ней. Моя душа полна этим чувством. Затем должна высказать тебе *самое главное* для меня. Ты мне приносишь сейчас очень глубокие огорчения. Особенно все это больно сейчас, когда ты уехал, я совсем одна. Мне вообще очень трудно жить. Все сейчас, даже мое здоровье, изменилось, весь мой организм разладился. Ты *меня глубоко огорчаешь своей неправильной оценкой наших отношений.* Я решила было пока молчать об этом, но вот все твои события меня вынуждают высказать до дна души

мою боль. Неужели в наших отношениях была и есть одна страсть, неужели они основаны *только* на *эгоизме* и *грехе?* Кто был твоим *живым* и *настоящим* помощником во всех твоих делах и мыслях? Кто *жертвовал всем,* чтобы двигать твое дело, чтобы окружать тебя, сближать со всеми душой? Кто раскрыл и дал всю *ширину, глубину* и *красоту* чувства, *к о т о р ы х т ы не и м е л,* т. к. иначе не ушел бы от В. А.? Кто есть твоя *истинная духовная половина*? Кто живет и горит всякой секундой с тобой? *Где тут один грех, от чего тут искать спасенья, что я гублю?* Неужели все это можно назвать злом, грехом, падением? Как досадно и горько, что *мне* приходится самой все это говорить, а не слышать от тебя и не видеть главное, что это все дает тебе действительное счастье и удовлетворение и нужно тебе для дела. Мне жаль, что я должна писать об этом, но *теперь* иначе не могу. Вижу, как ты забываешь все это важное и подчиняешься какой-то idee fixe, которая все затмевает и ты теряешь твердость, теряешься. Думаешь об одном грехе, видишь один грех! Как будто ничего кроме греха и нет. Еще я хочу тебе сказать, что когда ты будешь исповедоваться, ты не можешь говорить о наших отношениях *как только о грехе* и умалчивать обо всем, что является их *основой* и *смыслом.* Ты не смеешь сравнивать наши отношения с чувственностью и паденьем. Ты не смеешь перед Богом унижать мою святыню, в которую я вложила мою душу. Помни, что ты нанесешь мне тяжелую рану. Все это, чего ты не чувствуешь, есть *единственное,* чем ты можешь мне отплатить за все, не оскорбить моей души, и так оскорбленной всем твоим отношением. Ты также не должен забывать, что В. А. знала о твоем чувстве и решила, что *“она не хочет в тебе ничего гасить”,* также и о моем чувстве к тебе она знала и *признала, что оно нужно тебе.* Не странно ли теперь, после *четырех лет,* начинать все снова, перестрадывать все, что давно уже было ясно? Я смело говорю о своем чувстве, т. к. знаю, что оно не есть прихоть, а смысл и спасенье души и жизни моей. Пять лет борьбы и страданий, пять лучших лет, они стоят двадцати, и опять все страдания без конца. Вообще же уверяю тебя, что я спокойна и уверена во всем. Что касается до “греха”, т. е. проявление чувства, то ты борись и побеждай, друг мой. Меня поражает одно, что же я, насилую, что ли, тебя? Заставляю, что ли? Не хочешь, не можешь, ну и не нужно. Ради Бога успокойся на этот счет. Если ты и В. А. видите весь смысл Вашего несчастья *в этом* одном факте, все спасенье жизни и всю действительность христианства *в этом,* то эта задача очень просто разрешается. Не нужно, вот и все. По поводу старца я думала много и пришла к отрицательному результату. Не только я, но и Леля не решается

идти к старцу. Опасно, страшно, можно хуже нарушить свою душу. Где клятва, там и преступление. А потом, боюсь впускать в душу того, кто вне жизни. *А я вся в жизни, в монастырь не пойду.* Я стараюсь молиться, верю, что Бог меня не оставит, даст силы. Видит Бог, что я не хочу зла, не хочу отнять тебя от семьи, а стараюсь любить все твое. Если же ты считаешь злом проявление чувства, то борись с ним. Очень прошу тебя быть покойным. Пиши чаще и подробнее — я тревожусь. Целую крепко.

76. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[26 января 1911 г. Москва. В Рим.]

№ 10 26 янв<аря>

Дорогой друг! Вчера получила твое письмо и немного успокоилась. Очень рада, что теперь легче, хотя я понимаю и чувствую, поверь мне, как трудно и сколько приходится перестрадывать. *Не забывай,* однако, что *нет* на свете жизни без страданий, испытаний и креста. *Поверь,* что мне и всем, кого я знаю, вовсе не легче. Очень мне интересно, что ты написал о католицизме и православии. Если только возможно, вели переписать и пришли. Много можно сказать глубокого, психологического, разбирая эти два пути. Я как раз сейчас собираюсь читать Добротолюбие, Несмелова[139] и книжки Новоселова[140]. Все это мне приносит Серг<ей> Ник<олаевич> Булгак<ов> — он очень хороший и отзывчивый человек, мы много с ним беседуем. В этих книгах я ближе познакомлюсь с настроением православия. Я всегда ненавидела дух католицизма, он мне глубоко чужд. Не люблю все это в Соловьеве. Особенно много противного у меня связано с католиц<измом> с детства, т. к. мама и ее родные все ярые католики[141]. Мне очень интересно привести эти чувства и оттенки к сознанию. Напиши об этом. У нас в редакции много волнений. Рачинский все еще в лечебнице, хотя ему лучше. Что и как будет с ним, покажет будущее. Если ему будет хорошо, то это ничего, если будет плохо, то я как-нибудь через родственников постараюсь отделаться[142]. Теперь я очень волнуюсь книгой Соловьева. Я боюсь, что ее конфискуют. Я показывала некоторые места Никол<аю> Васил<ьевичу>, и он их показывал другим, и они находят, что опасно. Мы думаем вычеркнуть опасные места, т. к. Рачинский раньше не подумал и книга уже напечатана[143]. С Солов<ьевским> сборником ничего не выйдет, т. к. мы слишком поздно о нем подумали, и все статьи, кроме твоих, Булг<акова> и Берд<яева> неинтересны или уже обещаны в журналы. Булгаков не успеет свою написать. Мы или совсем не будем выпускать сборника, или отложим до осени[144]. Это лучше, я

думаю, т. к. тогда попрошу Льва Мих<айловича> написать. Л<ев> М<ихайлович> бывает у меня очень часто, мы очень много с ним философствуем и на глубокие темы. Сегодня собираюсь "веселиться" у Якунчик<овых>[145], за ужином моим кавалером будет Серг<ей> Алекс<андрович> Щербат<ов>[146]. Наш отъезд за границу, и именно на Ривьеру, решен, мы едем в Бардигеру или в Cannes. Хотя Шварц за Бардигеру, т. к. там санаторий. Я *ужасно*расстроена этой поездкой, т. к. должна нарушить свои занятия. Мы едем 20го февраля. Мика и Маруся останутся там 2 месяца, а я вернусь к Пасхе, т. к. мне нужно устраивать все в деревне, потому что Мику сейчас же по возвращении надо отправить туда. Эта поездка, к сожалению, необходима, как я ни старалась ее отклонить. Мне, главное, жаль своих занятий философией, которыми я так увлечена. О моем увлечении, о милом Канте, я напишу тебе потом, и с особой, самой нежной любовью, которой я опять к нему преисполнена. Собрание с Гессеном было интересно, была борьба "меонизма" с реальным идеализмом (не знаю, как назвать). Причем за отсутствием профессоров (было экстренн<ое> засед<ание> совета) разверзлись уста Огнева, Шпетта, Степуна, Фохта[147]. Они разболтались и разострились — но не к своей выгоде. Огнев мне нравится, он тоже у меня бывает теперь. Ну, до свиданья, пиши скорее обо всем. Целую крепко.

77. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Конец января 1911 г. Рим. В Москву.]

Милый и дорогой друг Гармося

На твое письмо отвечаю тотчас по получении. Дорогая моя, зачем так писать? Где и когда я говорил, что в наших отношениях одна страсть, один эгоизм и один грех? Не говорил ли я тебе двадцать тысяч раз противоположное! И право, если бы наши отношения были таковы, то нечего было бы особенно над ними мучиться! Прекратить их, и конец! И никакой драмы тут нет в прекращении того, что "один грех".

Сотый раз тебе повторяю, моя милая, что совсем не в этом трудность и тяжесть положения, а в том, что тут возвышенное, дорогое и греховное перепутались и сплелись так, что нужны нечеловеческие усилия, чтобы понять, где начинается одно и где кончается другое! Ты предлагаешь чересчур простое разрешение вопроса о "грехе". Но скажи по совести, сама-то ты очень ли веришь в эту простоту?

Я скажу вот что: это "греха просто не нужно" невероятно трудно! Трудно *мне,* потому что, когда я тебя вижу, во мне поднимается страшная сила чувства, и потому что я тебя люблю,

и просто оттого, что бывают степени очарования, которым может противостоять только сверхчеловеческая сила. “Не греши, вот и все тут”! Ну, а как тут быть, если одна улыбка сводит с ума, если ты со своей стороны испытываешь то же? Ограничивать себя во всем? Меньше видеться, считать минуты, “быть. осторожным” и т. п., когда от внутреннего давления грудь готова лопнуть и когда в то же время на тебя эта “осторожность” действует как оскорбление! Все это к тому же было, все это испробовано и к чему же это привело?

А между тем бороться надо, Гармося, — во имя всего святого более чем когда-либо надо. Ты знаешь, до какой степени меня измучил этот грех, как он истрепал мне душу. Раз в одну из самых твоих милых и дорогих для меня минут ты мне прямо ответила на поставленный вопрос, что рано или поздно я от этого греха должен отойти, иначе я не буду я, если не буду жить по своей вере.

Ты видела много моих мучительных минут! Во сколько же раз это мучительнее теперь, когда *она* все знает и скрывать от нее дальше — *невозможно.* Если я с легким сердцем буду продолжать, говорить ей в лицо, что живу вопреки всему, во что верю, видя, что это — для нее *смерть,* то чем и кем я после этого буду? Я имею гораздо больше оснований, чем ты думаешь, бояться за ее здоровье, когда *я знаю* от Шварца и от других, что у нее *начинался,* хотя и остановился, туберкулезный процесс; Шварц нередко высказывал по этому поводу о*пасенья.* Но тут есть многое еще серьезнее болезни. На вопросы о ее здоровье она часто отвечает, что “когда у человека вынули душу, у него не спрашивают, болит ли у него мозоль”; и это правда! Продолжать то, что было, значит вынимать из человека душу! Если другого дать я ей не могу, то одно я ей должен дать. *Она должна видеть, что я живу в правде!* Только это может примирить ее с жизнью, хотя бы и при наличности *чувства* к тебе.

Еще скажу тебе, моя дорогая, что по *правде у* меня теперь такая тоска, от которой временами не знаю, куда деваться! Если эта мука будет продолжаться и расти в Москве, то мне останется одно из двух: или сойти с ума, или в самом деле стать отшельником, уйти от мира.

Дорогая моя, ты писала мне на днях, как неполна жизнь ушедшего от мира, что надо оставаться в миру, *действовать* в нем и давать людям. Гармося, видит Бог, как я этого хочу. Вот почему я и обращаюсь к тебе с мольбой; больше тебя никто не может для этого сделать, чтобы сохранить меня в миру, чтобы я не был вынужден уйти от всего. Господи, как мне хочется сохранить все святое, что есть в наших отношениях. Подумай об

этом: ведь если б я предполагал в наших отношениях “один эгоизм и страсть”, я не обращался бы к *святым* твоим чувствам, не просил бы у тебя ничего во имя *святого* чувства любви. А между тем я *только* к нему и обращаюсь.

Но, милая моя, чтобы сохранить меня и наши отношения, недостаточно просто пожелать, чтобы не было греха; надо принять какие-нибудь действительные меры для обуздания себя. Пойдешь ли ты на это? Не примешь ли как “оскорбление” или знак холодности?

Я, например, часто думаю вот о чем (пока говорю тебе одной на свете и не сообщай никому). Мне нужна помощь Божия, — я это чувствую всеми силами души. Что ты скажешь на то, если весной, *вместо того* чтобы в мае приехать в Москву, я поеду на Афон (конечно, один) и проведу там в молитве часть лета! Вот тебе испытанье! Примешь ли ты это как “оскорбленье”, знак холодности или, напротив, как знак того, что я в молитве ищу сил *сохранить* наши отношения? Я пока не остановился на этой мысли; но мне крайне важно знать, как бы ты к этому отнеслась, если бы я это сделал? Это, разумеется, только один из примеров того, что можно делать!

Тебя к “старцу” не решаюсь посылать, хотя мне очень жаль, что ты этого не сделала, потому что Божья помощь нужна *и тебе;* святые люди дают ее *всем существом* и обнаруживают часто великое сердцеведение; потому что быть *над жизнью* вовсе не значит не понимать жизнь. В монастырь тебя никто бы не послал, но облегченье и *проверку* совести ты конечно бы получила. Ну да, впрочем, для этого нужно настроение, которого у тебя, по-видимому, еще нет. Крепко тебя целую.

78. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[1 или 2 февраля 1911 г. Москва. В Рим.]

Дорогой Женичка! Пишу экстренно по поводу ужасного события. Завтра. *все* тебе напишут. Дело в том, что Мануйлов, Мензбир и Минаков *уволены* совсем и от ректорства и из профессоров. Сегодня подали в отставку 12 профессоров и 24 приват-доцента. Из профессоров: Вернадский, Хвостов, Петрушевский, Умов, Чаплыгин и др., из доцентов Николай Васильевич. Вернадский, Никол<ай> Васил<ьевич> и Хвостов спрашивали у меня твой адрес и решили тебе писать письма. Телеграмму посылать не решились, чтобы не спутать. Все ожидают, что и ты подашь в отставку. Это ужасно, хотя действительно иначе нельзя. Одно горе, что и тут нет настоящей солидарности. Ключевский отказал. Новгородцев, Булгаков и Котляревский колеблются[148]. Не знаю, как ты решишь, но,

вероятно, тоже выйдешь. Какое горе! Кругом черные, черные тучи нависли! Главное, жаль твоей работы со студентами и семинарий по Соловьеву! Если это должно кончиться навсегда, это ведь ужасно! Ну, до свиданья, милый друг, будь бодр. Сделай для меня: не беспокойся и не мучься обо мне. Будь уверен, что с этой стороны будет все хорошо и так, как тебе нужно. Я надеюсь, что Бог мне даст силы быть твоим другом и поддержкой, и ты меня поддержи. Пиши чаще и больше обо всем, не стесняйся, я теперь все могу слушать. Какое горе! Сегодня получила твое письмо и уже послала ответ днем.

79. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

(Первые числа февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 13

Милая и дорогая Гармося

Ко всем бывшим и настоящим волнениям сейчас прибавилась одна гложущая забота — университет. С тревогой и ужасом слежу за событиями в Петербурге и в Москве по итальянским и русским газетам. Сейчас под впечатлением возвещенной телеграфом отставки московских профессоров. *Каких?* Вот источник волнения! Чувствую, что правительство решилось вышвырнуть вон все порядочное или заставить профессоров *выйти самих,* сделав им жизнь невозможною. Вообще положение безвыходное: если победят студенты, университет превратится в революционный клуб. Если, что вероятнее, победит правительство, университет превратится во что-то среднее между участком или чайною русского народа. Я люблю университет, крайне боюсь поэтому, что отставка с минуты на минуту может стать нравственно обязательною. Написал Мануйлову, чтобы получить от него точные сведения на этот счет.

Вообще невесело, потому что университет в данном случае — частное проявление зла более общего и большего — разрушения культуры дикарями слева и справа. Неужели не дадут они ничему порядочному у нас образоваться? И неужели придется от *всякой* деятельности уйти — в чистое созерцанье? А что делать тем, кто не может созерцать или созерцанием наполнять свою жизнь? Сколько Шиповых, Г. Львовых[149] и иных полезных крупных сил выбрасывается за борт, когда мы так бедны силами. Просто отчаяние берет!

Сейчас получил твой № 11 и в восторге, что хоть ты не унываешь. Я же нахожу огромное утешение в моей работе, которая сильно двигается. Боюсь, что изо всей моей деятельности одна эта работа останется. Хотя, кто знает, может быть, для дела и нужно временно сосредоточиться на этом одном.

Ты спрашиваешь, приносит ли Верочке пользу Рим. Крайне трудно ответить на этот вопрос. Да, разумеется, сейчас в Москве было бы много хуже. Но ведь как раз теперь и так недавно прибавилась новая и такая невероятная тяжесть и боль. Во всяком случае, эта боль не из тех, которые *излечиваются* переменой места. Лучше в Риме, чем в Москве, но нож сидит в груди и тут.

Мое знакомство с Палъмьери[150] продолжается, и очень интересно. На днях он меня ошеломил. Я был у него в келье (он августинский монах), и он показал мне *teatp*, устроенный в их монастыре, где итальянская молодежь дает оперы и комедии под руководством католических монахов. Играются исключительно пьесы с нравственным сюжетом, и делается это в целях противодействия безбожному и безнравственному *светскому* театру. Что ни говори, а жизненности и деловитости в католицизме хоть отбавляй! Ни один способ влияния не остается неиспользованным. Но только мало они достигают. Дюшен[151] — вообще большой острослов, на днях зло охарактеризовал папу:

“Il veut transformer la barque de St.-Pierre en gondole venitienne”*. Папа, к<ото>рый кроме венецианской епархии ничего не знает, это — не в бровь, а в глаз.

* Он хочет превратить корабль св. Петра в венецианскую гондолу *(франц.)*.

Пальмьери ужасно боится, что узкий [одно слово нрзб] дух, бюрократия и невежество, коим этот папа наводняет церковь, вызовут новую реформу вроде лютеранской, и считает “модернизм” внушительным предостережением»[152].

Ну прощай, моя милая, дорогая и хорошая Гармося. Ужасно досадую на медленность моего переписчика, иначе давно бы прислал тебе 2 главы. Копии со статей Соловьева в Univers для меня снимаются[153].

Целую тебя крепко.

80. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[9 февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

№ 14 (?)

Милая и дорогая Гармося

Спасибо за твои письма, которые дают великую радость *вместе с* тобой переживать весь ужас московских событий. Для России это — кошмар. Такой удар тяжелый и грубый по первому рассаднику просвещения, по сильнейшему и лучшему из наших очагов культуры ужасен как симптом, как предвестник

катастрофы, как крушение всякой надежды прийти к чему-нибудь хорошему мирным путем. Это прямая угроза окончательного *одичанья.*

Поэтому я все это переживаю болезненно. Для *внешней* деятельности исчезает почва под ногами; все рушится. Душа и мысль загоняются внутрь. И с этой точки зрения все эти события — провиденциальны.

Лично для себя я тут вижу прямо перст Божий. Целый ряд мучительных *личных*вопросов разрешается сам собой самыми недвусмысленными указаниями.

Вот, например, эта отставка причиняет в моем бюджете дыру в 8000 р<ублей>. Так как эти годы мы только сводим концы с концами, то существует *принуждение* радикально изменить жизнь, что легче всего будет сделать, переехав на зиму в Бегичево. Совершенно не вижу, как можно сделать иначе.

И вот эта-то *материальная* необходимость всему духовному — на пользу. Пострадают ли от этого мои духовные интересы? Думаю, что наоборот, это будет верным во всех отношениях. Вот ты пишешь про мой семинарий о Соловьеве. Верно, это та утрата, которая в моем расставании с университетом была бы мне всего тяжелее. Но я надеюсь, что ее не будет. Я могу устроить этот же семинарий при университете Шанявского и надеюсь, что мои семинаристы туда с радостью пойдут[154]. А мне самому достаточно для этого приезжать в Москву раз в две недели! Лекции? Этого мне всего менее жаль. Ты знаешь, что они меня даже тяготили! Деньги? Тоже стать несколько беднее и быть вынужденным кое в чем себя ограничивать — одним упреком меньше. А вынужденное отшельничество теперь, когда как раз кипит внутренняя работа мысли, — да это *милость Божья!* Вдали от университета я делаю вчетверо больше; и нет бесплодной затраты сил на советы, комиссии, кипение в пустоте, нет безнадежной борьбы с глупостью правительства и радикалов (кстати — борьба *ненужная,* потому что они и сами *без нас* сумеют вырыть себе могилу)!

Подхожу к самому интимному. Отпадает то, что меня всего больше пугало, — необходимость постоянного жительства в Москве; а вместе с тем нет и принуждения к разлуке с тобой. *Внешние преграды* эти могут, разумеется, сделать наши свидания менее частыми, но зато и более спокойными и приятными, потому что эти свидания тогда не будут постоянно смешиваться с тревогой о том, *что дома.*

Теперь возможность этих свиданий будет зависеть не столько от внешних, сколько от *внутренних* условий, т. е. от того, какие мы с тобой оба будем. Но тут ты ради Бога не напирай на меня и

не торопи меня. *Дай собраться с силами,* потому что слишком велико для меня очарованье, слишком все это горячо и страстно, а потому и трудно. *А надо,* чтобы все было совсем светло между нами.

Одна из главных мук, что для Верочки пребывание в Москве — медленная смерть, тем самым отпадает. Как будто, стало быть, что-то наконец намечается. А мыслей-то дорогих, выстраданных, с *тобой* пережитых, — сколько в голове и в душе! Как нужно уединиться, чтобы поработать надо всем этим. А что делиться всем этим будем, в это я верю и этим живу. Только ты, родная, не впадай в отчаяние; верь, что крепко, крепко и горячо тебя люблю.

Послал тебе одну главу, другую думаю послать на Ривьеру. Напиши скорее, куда адресовать письма и с какого числа. Нужно ли писать в Вену или Берлин. Крепко, крепко целую.

81. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[11 февраля 1911 г. Москва. В Рим.]

Дорогой и милый Женичка! Посылаю тебе, во-первых, извещение о засед<ании> Соловьевск<ом>. — Была масса народа. Недурны были доклады Вяч. Иван<ова> и Бердяева, Блока — ерунда, а Эрна бледно[155]. В общем, *все* мысли у тебя есть, и куда интереснее и глубже. Посылаю повестку на мое собрание кружка. Этот Яковенко выступает впервые — посмотрим, каков он[156]*. По просьбе Серг<ея> Иван<овича> посылаю тебе вырезку из “Русск<их> Вед<омостей>”. Это дело Четверикова, и он счастлив победой. Удалось ему объединить таких тузов на духовной, чуждой интересов почве[157]. Это в самом деле торжество. Может быть, и для правительства будет важно. Получаешь ли ты газеты и знаешь ли все? Пиши ради Бога чаще, тебе ничего не стоит, а мне это *спасенье,* мой ангел, уверяю тебя. Подумай, сколько я должна всей семье давать и дело делать. Целую очень крепко, как люблю.

Твоя Гармося.

82. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Телеграмма. Москва. В Рим. Принята 24 февраля (11 ст. ст.) 1911 г.]

Suis desespoir complete deux mois lutte fait tout ce que toi meme voulais de moi esperant vaincre mes sentiments toutes ces circonstances mattendues brisent mon coer remplissent terreur supplie ne prands aucune decision sans moi perdre force. espoir sans ton soutien tu dois connaitre mon amur sans borne ferais toute un monde pour conserver nos relations ne puis admettre que tu veille briser mon ame et ma vie voulais partir immediatement Rome suis retenue deux

semaines telegraphies ecris[158] [*].

83. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Рим. В Москву. Принята 12 февраля 1911 г.]

Calme toi aucune decision prise lettre suivant deciderons ensemble supplie pas venir Rome[*].

84. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 февраля 1911 г. Рим, В Москву.]

14 Февраля (кажется, № 16)

Гармося, моя милая

Чувствую, что огорчил тебя вчера; зато хочу сегодня порадовать (так ведь редко что-нибудь радостное бывает). Во-первых, мне сейчас доставлены копии Соловьевских статей из Univers, которые мы с тобой издадим вместе[159]. Статьи представляют некоторый интерес, хоть и мало дают нового. Но меня они несказанно обрадовали не этим, а напоминанием о том, что *наша с тобой совместная деятельность продолжается.* И уж от этого небольшого луча у меня в душе посветлело и стало *спокойнее.*

Вот если мы с тобой согласимся относительно основного, — все станет проще и легче, между прочим и вопрос о нашем ближайшем свидании весною. Если правительство не уволит нас *немедленно,* а будет требовать окончания принятых на себя обязательств, то, чтобы избежать напрасных обвинений и быть *во всем правым,* может быть, и лучше проэкзаменовать студентов весною. Если же я буду уволен раньше, то все-таки приезд в Москву необходим по другим причинам.

Если до тех пор мы согласимся с тобой на какое-нибудь решение, то свидание наше будет несравненно менее нервным, более радостным и менее опасным. Ужасно опасны именно те свидания, от которых зависит решение судьбы. Нельзя, чтобы в таком важном деле мешали нервы. Скажу больше: решение должно быть продиктовано *не чувством, а совестью:* только тогда оно нас обоих удовлетворит и прочно успокоит. Поэтому оно должно быть принято *раньше свидания.*

По поводу моего *дела* будь совершенно спокойна. *Сейчас,* т. е. в данную минуту, когда у меня зарождаются страшно важные лереживанья и мысли, я властно слышу призыв, выраженный Пушкиным:

“Твори, но в тишине, но в тайне,

Не смея помышлять еще о славе”»[160].

Мыслям, как и доброму вину, нужна выдержка. Я чувствую, напр<имер>, теперь, что мое первое выступление о Соловьеве (в

польской библиотеке) было не полезно, а вредно, ибо оно было преждевременно; мысль, *не вполне созревшая,* осталась непонятою и не вылилась в настоящую *захватывающую* форму. Теперь чувствую, что почти все написанное должно быть совершенно переработано, чтобы получилась не книга, а *живое* дело, и знаю, *как* это сделать.

Но для этого необходима тишина, некоторое отшельничество и сосредоточенность. *Без этого творчества нет!* Выступать и действовать необходимо, но для этого нужно иметь готовое, *с чем выступить.* Все прекрасное до рождения вынашивается, вымалчивается, *таится во чреве* и только потом рождается на Божий свет.

Сказать, что это значит "замкнуться в кабинете", — значит ничего не сказать. Скажи, пожалуйста, нужно было Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Толстому "замкнуться в кабинете", чтобы произвести "Онегина", "Мертвые души", "Войну и мир"; заслуживает ли осужденья Иванов за то, что всю жизнь прожил в своей мастерской с одной *картиной.*

Ведь у меня в душе зарождается то же произведение искусства. Если оно родится раньше времени, будет недоносок; а торопить выступать с не готовым — вредно. А главное мое дело — все-таки в этом *выстраданном* произведении. Сегодня отослал мою 15 главу и жду *с трепетом,* как ты ее почувствуешь и переживешь; *точно от этого все наше с тобою будущее зависит!* Верю, что еще будем работать и переживать вместе!

А относительно дела и деятельности не бойся. *Живого дела* никакие внешние стеснения и запреты не погубят. Кто нам сказал, что именно *с этого момента, с* этой отставки не начнется настоящая моя просветительная, а может быть, и академическая деятельность! Возможно, что и так, если только правительство не запретит нам *всякое*преподавание. Но если оно это и сделает, влияние наше сильно возрастет.

Целую тебя крепко.

P. S. Сейчас получил твою телеграмму о сборнике Соловьева. Все изменения вполне можно сделать в корректуре: вели прислать. Но как быть со статьями самого Соловьева! Их я могу перевести только в Москве, имея под руками летопись [одно слово нрзб]. А Рачинского нет! Ровно через две недели едем в Неаполь и оттуда, вероятно, в Capri.

85. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Около 15 февраля 1911 г. Москва. В Рим.]

Радость моя, сокровище мое Женичка! Наконец-то я вздохнула немного, наконец-то *некоторое* спокойствие вошло в

мое сердце! Я увидала хотя некоторый просвет. Сегодня утром получила твое письмо, где ты пишешь, что Вы будете жить зиму в Бегичеве и что ты можешь работать в Университете Шанявского. Господи, Господи, благодарю тебя! Свет, сила, Бог не уйдет из моей жизни. Бог не покинет меня. Никто бы не допустил и ты сам меньше всего, чтобы В. А. тебя не видала, ее жизнь была бы разломана, полное одиночество во мраке и безнадежности. За что же меня подвергать тому же? Я ничего не прошу теперь, никаких ультиматумов не ставлю, никогда не сомневаюсь, что ты должен любить В. А. и детей и жить с ними. За что же меня бросать одну, без поддержки, без возможности поговорить с тобой, поплакать с тобой, порадоваться на тебя! Это жестокость, которая невероятна! Прости меня, мое сокровище и моя радость. Прости за мое отчаяние. Поверь одному, что оно было действительно безумно, изломало меня вдребезги! Я все это время и хворала и рыдала по целым дням. Не думай, что я боюсь борьбы, что я ослабну, что я не буду радостно идти вперед, быть лучше! Не сомневайся во всем этом. Я думаю и надеюсь, что эти два месяца громадной и трудной и *глубокой* работы тебе видны, ты их признаешь и они тебе могут дать веру и спокойствие за мою жизнь вообще. Но это все так, *только* если я знаю, что тебя увижу, что ты здесь, наше дело общее. Пусть мы будем видеться реже, но это ничего, если этой ценой будет хотя какое-нибудь спокойствие у В. А. и у тебя. Тогда и мне будет лучше. Но отдать всю мою жизнь я не могу, так же как и В. А. не может. Каждый хочет сохранить и верить в незыблемость своей почвы. Дорогой, бесценный, любимый мой, ах как я тебя безгранично люблю, как я тебя обожаю. Всю душу хочется отдать на общее дело с тобой, Чтобы *вместе* с тобой работать, чтобы ты весь, милый и прекрасный, проходил тут везде реальный, *живой*. Не могу я не считать смертью для себя, чтобы ты был далеко и по письмам мы общались друг с другом. Это возможно временно, я *все* вынесу, но мне нужно верить и знать, что ты будешь жить тут близко, ты *живой!* Разве может моя “еврейская” природа[161] жить иначе, а не умереть тогда, если солнце мое ушло! Нет, нет, нет, никогда, нельзя! Прости мое вчерашнее письмо, я была сумасшедшая. Пойми и прости. Сейчас я буду уже поправляться. После этого известия я сегодня первый день вышла к завтраку, волосы могли лечь в прическу и вид не с того света. Господи, мне только надо твердо знать, что ты никуда не уйдешь, а вернешься сюда. Я тоже тебе скажу, не торопи меня, дай мне собраться с силами, не бросай меня, не губи меня! Неужели нельзя в меня поверить, что я приду к хорошему так, как ты захочешь, но не одна — этого я не могу. Ты не можешь себе представить, *как* хорошо, что ты решил насчет Бегичева. Для

твоей работы — это чудно. Я радуюсь всей душой! Насчет семинария я уже думала то же самое! Я тоже буду работать вовсю. Буду заниматься философией, собрания устраивать. Издательство и школа задают большие задачи. Еще об этом напишу после. Уверяю тебя, что и в религиозном отношении я очень углубляюсь и развиваюсь! Уверяю тебя! Может быть, во всем шагну вперед! Силы будут и у тебя и у меня! Родной мой, светлый мой, никогда никого не любила кроме тебя, и никто для меня на свете не может существовать кроме тебя, радость моя. Как ты смел воображать даже возможность какого-то господина! Да я тебя если и люблю, то сейчас люблю еще в тысячу раз больше. Уезжаем мы в конце первой недели[162], 26го, 27го или 1-*го марта.* Пиши *Берлин Hotel Continental и Bordighera* (кажется, так пишется) *Hotel Royal.* В Рим я не поеду, будь покоен, мое сокровище! Будь спокоен, будь здоров. Христос с тобой, моя радость. Целую крепко.

Твоя Г.

86. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[19 февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

Гармося, милая моя и родная

Боюсь писать тебе в Москву, потому что не знаю, когда ты должна выехать. Отправил тебе об этом две *телеграммы,* но одну вернули из Москвы, т. к. недоставало твоего адреса, а на вторую, посланную сегодня, ответа еще не могло прийти. Итак, рискую писать в Москву и, боясь пропажи, пишу немного.

Очень тебе благодарен за присылку открытого письма представителей промышленников. Но я прочел его уже раньше в “Русск<их> Вед<омостях>” — единственной газете, которую я получаю, и, разумеется, догадался, что это — дело С. И. Четверикова. Передай ему выражение моей глубокой благодарности и уважение за это доброе общественное дело: письмо написано с большим достоинством и без лишних фраз; оно мне очень понравилось[163].

Очень рад видеть, что у вас философская жизнь по-прежнему кипит, и надеюсь еще принять в ней участие. Но сейчас думаю, что, даже и будучи в Москве, к “трансцендентализму” относился бы рассеянно. Уж очень захватывает грандиозная университетская драма, из-за которой работа о Соловьеве идет сейчас значительно медленнее и хуже. Кстати, судя по газетному отчету, Эрн по обыкновению подпустил в свою речь патриотического кваса и, конечно, наврал. Открытие “Софии” вовсе не принадлежит Соловьеву. У Баадера она так и называется “София” и совершенно так же определяется как “идея” или “мир идей”[164].

Долго меня мучила мысль написать в газеты по поводу нашего ухода, долго останавливала трудность писать издали, не зная всего и с опасностью отстать от событий. Наконец не выдержал, написал и послал в “Речь”, где она появится приблизительно одновременно с получением тобою этого письма. Посылаю в “Речь”, потому что московским газетам, по-моему, запрещают печатать. Уж и будут же меня ругать и справа и слева. Я чувствовал себя обязанным всыпать и тем и другим, потому что и правые и левые умаляют значение нашей отставки, делая нас “забастовщиками”, что вопиющая ложь[165]. Послезавтра (на 1й неделе великого поста) начну говеть, а кончивши говенье, мы поедем в Неаполь.

Мальчики мои поехали в Сицилию *одни*[166]*; теперь никаких осмотров я не произвожу (впрочем, уже давно) и ограничиваюсь гигиеническими и деловыми прогулками. Настроение теперь — временами подавленное общественным кошмаром и ужасом, нависшим над Россией; боюсь, что “сие есть начало болезней”[167]. Когда правые будут сметены левыми, эти покажут нам ужасы неизмеримо большие. И мы, т. е. культурная середина, будем опять и всегда гонимы.

Но в гонениях рождается все великое, прекрасное и ценное. А это дает надежду.

Крепко целую тебя, моя дорогая.

87. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20 февраля 1911 г. Рим. В Москву.]

(кажется, 17 или 18; будем считать 18е)

Милая и дорогая Гармося

Вчера получил твоих два письма; утром — отчаянное, а вечером — утешенное, и соответственно с этим сам к вечеру утешился, а утром был весьма мрачен. Сейчас буду говорить по поводу обоих этих писем. А пока утешу тебя еще маленькой весточкой. — Вчера получил копию с той части письма Штроссмайера к Рамполле, где говорится о Соловьеве; очень интересный неизданный документ. Соловьев ожидался в 1888 году в Риме, где *должен был* получить апостольское утверждение и благословение на дело католической проповеди в России (в действительности не явился)[168].

Одно не знаю — публиковать ли документ в *сборнике* памяти Соловьева. Посоветуйся об этом с прочими членами “Пути” и скажи, что, по-моему, лучше такого рода документы поместить где-либо в другом месте в связи с пространным комментарием о католичестве Соловьева (напр<имер>, в приложении к моему сочинению), а не в сборнике, где, не будучи надлежаще

комментирован, он собьет с толку читателя.

Относит<ельно> предложения Кубицкого есть много доводов за и против. *Против* то, что К<убицкий>, хоть и хороший филолог и древнюю философию знает, как рационалист и недаровитый человек совершенно не способен передавать ни мистической глубины, ни мистической *красоты* — *поэзии* Платона. *За* то, что хоть какой-нибудь перевод, сделанный человеком знающим, — все же лучше, чем ничего. *Можно* согласиться, хотя энтузиазма это не вызывает; но если остальные члены “Пути” очень запротестуют, *я настаивать* не буду, тем более что хороших переводов иностранных — сколько угодно. Как бы не вышел *мертвым* Платон у К<убицкого>?[169]

А по поводу твоих двух последних писем, дорогая моя, скажу вот что. Завтра начинаю говеть и прошу у тебя от души прощения. Всю неделю до Субботы буду молиться, чтобы все между нами было хорошо, чтобы Бог дал сил нам обоим на хорошую, святую и чистую дружбу и чтобы никакая неправда не вторгалась в наши отношения и не нарушала мир наших душ. Родная моя, вот если бы ты могла поговеть и с той же мыслью. Такие *ответственные* минуты приближаются для нас с тобой — и *страшные, оттого что слишком радостные*. Дочитывай *и ты* мои письма и пойми, что ведь не видел бы я опасности, если бы с моей стороны было равнодушие. Не холода я боюсь, а чрезмерной горячности *моих собственных* чувств.

А бояться есть чего. И ты и я чувствуем, что неправда, обман в будущем недопустимы. Стало быть, между нами должна быть такая истина, которая бы *не убивала*. Нужно сделать *сверхчеловеческие* усилия, чтобы это было так. Все мое значение и дело в жизни от этого зависит. Но, впрочем, нужно ли это тебе говорить? Дорогая моя, ты сама все это знаешь не хуже меня. — Но вместе с тем не могу и не говорить тебе этого, потому что сейчас вся душа моя этим полна. Помни, что вся наша задача теперь, предстоящая обоим, — *принять крест* (чего иудеи не захотели)[170]. И через крест мы с тобой не удалимся, а будем много, много ближе. Сколько раз на опыте я убеждался, как общее лишение и общая жертва нас с тобой сближает, милый мой, дорогой ангел и друг. Не потому пишу все это, чтобы сомневаться в серьезности твоих намерений, а потому, что хочу и сам в этих намерениях укрепиться и тебе помочь.

Крепко, крепко тебя целую. Пожалуйста, извести задолго о твоем отъезде. Очень боюсь, как бы все твои дети не переболели корью. Тут заразительность — огромная, даже непреодолимая.

Еще раз крепко целую.

88. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[4 марта 1911 г. Москва. В Неаполь.]

4-е марта

Милый Женичка! Посылаю тебе по просьбе Сергея Ивановича экземпляр воззвания, написанного Сергеем Андреевичем. Пока оно конфиденциально роздано по рукам и собираются подписи[171]. Мы с Серг<еем> Иван<овичем>[172] очень пожалели, что не ты это писал, т. к; написано слабо, по-моему, недостаточно для массы, на которую рассчитывают. Дай Бог, чтобы что-нибудь вышло — это было бы внушительно. Сейчас получены твои корректуры — я еще не прочла, но видела, что ты кое-что исправил. У нас в издательстве все хорошо. Булгаковым и Бердяев<ым> я очень довольна — мы с ними все больше сходимся. Часто много и горячо говорим. Они относятся к делу очень горячо — заходят постоянно. Меня волнует вопрос о сборнике. Ты понимаешь, что мы, издавая ряд сборников, хотим этим выразить нашу боевую линию. Мы задумали поэтому написать предисловие к Солов<ьевскому> сборнику, как первому, и обозначить этим предисловием вехи, по которым будем идти, вроде программы. Писать будет Булгаков. Т. к. меня соблазняет *боевая* позиция и увлекает мысль вести борьбу, то я сочувствую этому, но *боюсь*. Поэтому *я* сказала, что без *твоего* прочтения и согласия я нахожу неловким выступать с этой программой. Тебе будет прислано предисловие скоро. Ты напиши, как ты находишь данное предисловие, прокорректируй его и скажи, вообще согласен ли ты, что предисловие нужно. Ради Бога сделай это и обдумай. Эрн вообще пугает меня своей узостью — он отпугивает всех. Теперь, когда спор двух течений так остер, опасно отпугивать узким догматизмом. Ввиду этого хорошо ли предисловие? А с другой стороны, не определять своего облика, не ставя никогда ребром, — как-то безжизненно. Разреши мои сомнения — я тебе верю. Я тебе не сообщала о двух докладах Яковенко[173] и Степуна[174]. На обоих очень остро вспыхивали столкновения между христианами и неокантианцами или как их назвать. Видно, что спор разгорается по всякому поводу и встают ребром все вопросы по существу. Степун был разбит в пух и прах! Он не бездарен, но поразительно безвкусен и легкомыслен. Яковенко, по-моему, единственный, к которому стоит присмотреться. Несмотря на оболочку меонизма, его конечный идеал как будто религиозен, хотя пока еще бессодержателен. Я забыла тебе сообщить, что у меня явился новый знакомый, Кривошеин, знаешь, министр земледелия. Я его избегала, особенно ввиду университетск<ой> истории, противно видеть представителей власти. Но он очень энергично мне звонил, писал

и приезжал. Меня это особенно заинтересовало потому, что он меня явно *интервьюирует*. Знает обо всех наших собраниях, кружках, изданиях и, видимо, очень хочет проникнуть во все. Меня поражает, насколько наивные и ложные у них там взгляды на все — это поразительно. Мы с ним воевали два часа насчет университета[175]. — Вот, кажется, все, что я имею сказать более внешнее. Еще хочется сказать, что я чувствую, что ты мной чем-то недоволен и думаешь, что я тебя не понимаю. Вообще ты ужасно там увлекся своей борьбой! Милый друг, так мне тяжело, так безотрадно жить, а жить так хочется! Ну зачем ты так все ненужно портишь, так не ценишь! Право, я не претендую составлять для тебя все — я сама хочу жить не только личным! Зачем же нам так омрачать и так тяжелую жизнь! Хоть одну минуту отвлекись от *своей* задачи и войди в мою душу и положенье и не будь так сух и суров, не разбивай всего! Будь более доверчив — вспомни, что не одни ужасы ты со мной переживал, а много радости! Почему же ты хочешь губить эту радость, что ты этим достигнешь и к чему?

89. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[7 марта 1911 г. Москва. В Сорренто.]

Дорогой, милый Женичка! Спасибо за дорогое письмо, мое сокровище. Если бы ты *понимал,* насколько мне легче, когда я получаю твои письма, то ты так не скупился бы. Спасибо за ласковые слова — долго их не слыхала! Ты меня заморил холодом и голодом! Спасибо за доброе намерение меня повидать! Ты не поверишь, как я устала душой! Конечно, сейчас я, с одной стороны, лучше себя чувствую, т. к. верю, что ты приедешь. Но с другой стороны, после этих потрясений, которые меня подкосили буквально, я стала ужасно как-то интенсивно все чувствовать и оттого страшно устала. Вследствие этого хочу уехать, переменить впечатления. Дети теперь совсем здоровы, и для них специально ехать не велят, но и им хорошо. Я возьму Мику и Марусю, и мы поедем в Крым, т. к. за границу на короткий срок не стоит. Мы уедем отсюда в субботу 19го марта и вернемся 18го апр<еля>, конечно, если ты раньше не вернешься, чего я, впрочем, не думаю. *С воскресенья или понедельника* 14го марта уже пиши в Ялту *до востребования.* Перешлют ли тебе мои письма из Рима? А их много еще там. На днях пошлем тебе предисловие к сборникам, написанное Булгаков<ым>. Он только что был и читал его. Очень нужно твое мненье. Я тебе писала, что это будет как бы программной статьей “Пути”, т<ак> ч<то> ты отнесись со всем вниманием, напиши, что думаешь и как находишь нужным выразить то, с чем не согласен. Я вообще сочувствую ясной и определенной постановке вопросов, особенно среди того

хаоса, который нас окружает. Хорошо, что где-то есть чистые, светлые, и жизненные идеалы. По-моему, тоже нужно трепетно чувствовать миссию России, но одно страшно, как бы во всем этом не пересолить и не вышло бы того, что сделал тогда Эрн в “Еженедел<ьнике>”[176]. Тут я надеюсь на твой ум, такт и, как всегда, на твой скептицизм. Твоя критика очень нужна, она всегда есть внесение предела в беспредельное. Это часто мучительный процесс, но я во многом готова ему добровольно подчиняться. Я склонна поддаваться увлечению чувств и романтизму — также и Булгаков. Хотя правильно проводится линия от славянофилов к нам, но как бы мы также вместо их лучшего тоже не впали в их грехи, с миссией России и православием. И то и другое нужно утверждать, но не заслоняться от мира. Кажется, в общем, все — да все это ты ведь знаешь. Только ты тоже не очень по-“римски” критикуй, боюсь я этого *не меньше*. Твои мысли и постановка многих вопросов меня очень волнуют. Но я во всем этом особенно ярко вижу, как твоей работе и тебе нужно — **мое.** Право, очень нужно! Не *я*, *я* не о себе говорю, а *мое,* das Ewig-Weibliche [Вечная женственность *(нем.).*]! Но и мне тоже **твое** нужно! Прав Соловьев, что только оба начала в соединении дают цельного человека. Ты так глубоко в своей работе забираешься, туда заходишь, откуда, чтобы дать разрешение не только в умозрении, а *в содержании,* нужна бездна подъема, жизни, красок, чувства! Иначе может выйти — провал, крушение, жизненная драма Платона! Это *то, о* чем мучается мое сердце! Но эти вопросы все впереди. — Пиши скорее. Ответь мне, пожалуйста, на следующие вопросы: подробно напиши, как твое здоровие, что животик? Потом второе, какчувствует себя В. А.? Видно ли, что она отдыхает, есть ли заметная польза от Вашего пребывания там? Потом напиши, как Ваше настроение вообще? Ты писал, что стало “легче, но трудно”. *Напиши об этом всем*, очень, очень прошу, мне очень хочется это все знать. Жду на это все подробного ответа. Сию секунду получила твою телеграмму и отправляю это письмо в Sorrento. Но боюсь страшного слова “Loreles”[177]? Что это такое? Это будет ужасно, если мои письма будут пропадать, только этого недоставало, тогда ты совсем писать не будешь. Завоспитываешь меня до смерти! Ужасно тебе хочется, чтобы я высохла и превратилась в “Лизаньку” или вообще в твой *вкус*. К сожаленью — это никак невозможно! Все *делать* по-твоему я буду, моя радость и прелесть, но *чувствовать и быть* другой я не могу! Ну до свиданья, мой ангел, не сердись на твою Гармосю. Целую очень крепко.

90. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[14 марта 1911 г. Неаполь. В Ялту, до востребования.]

Милая и дорогая Гармося, красавица моя милая и хорошая.

Когда в день приезда твоего в Ялту ты увидишь море, подумай, что в это же время и я гляжу на море *почти то же*. Помнишь, это раз уже для нас было хоть маленьким утешением с той разницей, что тогда я глядел на Черное, а ты — на Средиземное[178]. Точно для того судьба сделала нарочно, чтобы я видел побольше ярко-радужных синих красок, а ты — поменьше, чтобы каждый из нас приучался созерцать “свое противоположное”.

В этой шутке есть немного и серьезного — даже, пожалуй, и много. Вот сейчас я получил от тебя письмо хорошее, потому что более трезвое. Ты поняла в нем, что не следует так уж пугаться обоюдно нужной нам взаимной противоположности. Я думаю, что между нами всегда будет борьба и что она нам нужна. Поэтому избегать ее во что бы то ни стало, *замалчивать спорное* — большая ошибка. Это значит — замалчивать друг от друга свои особенности и свое нутро; а тогда какое может быть взаимное восполнение? Чтобы оно было, нужно не только до дна высказаться, но иногда и *взаимно рассердиться* (по Гегелю *синтез* должен быть непременно после антитезиса; у детей это называется друг друга прибить, а потом — поцеловаться).

А вот махать рукой и говорить: “все равно друг друга не переспоришь” — преступно [?] и против диалектики любви и против детской логики [этики?]. Все это, впрочем, я говорю теперь не во гневе и не в посрамление тебе, а в ласку. Недавно в письме прибил (антитезис), а теперь крепко целую (синтез).

А теперь отвечаю на твои вопросы. Во-первых, “животик” — плохой диалектик; то тезис, то антитезис (то расстройство, то запор); но гармонического синтеза за последнее время нет, а за предпоследнее время (в конце римского пребывания) было великолепно. Относительно В. А. — ответ на твой вопрос очень сложен. Она сейчас очень много молчит и таит — *из береженья меня,* старается даже выражением лица не выдать свои страданья, потому что видит, как это меня мучит, и вообще обо всем бывшем не заговаривает — все для того, чтобы не мучить меня. Но при отсутствии этих внешних проявлений, я все-таки знаю, что она только внешне овладела собою, но глубоко несчастна внутри.

Очень меня путает то, что ты пишешь о предисловии Булгакова. Для меня из твоих слов совершенно ясно, что тут есть фальшивая нота. По-моему, не нужно нам *никаких*общих предисловий — пусть каждый отвечает сам за себя, а не так как в “Вехах” все отвечали за Гершенсона[179]. Славянофильства же — не потерплю: это то самое, против чего я борюсь: в нем 3/4 вредных иллюзий и[180]/4, которую следует продолжать! Достаточно ли этого, чтобы на первый план поставить наше духовное родство? Особенно не верю славянофильству Булгакова, Бердяева и Эрна; если хотят его выставить непременно как знамя, то пусть делают это в сборнике, где моих статей не будет. Мое отношение к славянофильству слишком сложно, чтобы я *просто* мог пойти под славянофильским знаменем, не выяснив, что я в нем отвергаю и что принимаю.

А о “миссии России” не говорить теперь нужно (слишком много было раньше хвастовства и невыполненных обещаний), а надо *делать дела,* свидетельствующие об этой миссии. А то опять наобещаем “русское” царствие Божие, а во исполнение дадим труды Владимира Францевича Эрна — *немецки* педантичное и непримиримое “всеславянство”.

Целую тебя *очень крепко.*

91. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Середина марта 1911 г. Москва. Во Флоренцию.]

Дорогой мой Женичка!

Пишу впопыхах, тороплюсь послать тебе корректуру нашего предисловия к сборнику памяти Вл. Соловьева. Это то самое предисловие, о котором я уже тебе писала. Оно написано С.Н. Булгаковым и обсуждено и исправлено всеми нами кроме тебя и Рачинск<ого>, конечно. Все теперь зависит *от тебя.* Примешь ли ты вообще это предисловие как выражающее общий смысл нашего “Пути”, определяющее его задачи и выражающее его облик? Это *по существу.* А затем находишь ли ты в

*тактическом*отношении правильным и целесообразным такое выступление? Потом удовлетворяет ли тебя *это данное* предисловие, или ты находишь нужным сделать добавление или даже указать на важные стороны, упущенные? Или ты сделаешь исправления чисто стилистические? Так вот, мне поручено так тебя настоятельно просить (это необходимо, чтобы не задерживать выпуск книги, что будет неблагоприятно для Изд<ательства>). Сделай, пожалуйста, так: тотчас по получении этого письма и по прочтении *ты реши и телеграфируй* Знаменка 11, Книго-изд<ательство> "Путь" (т. к. меня не будет), согласен ли ты, да или нет, печатать ли предисловие, и добавь, что ты письмом высылаешь добавления или из[м]енения, если ты таковые сделаешь. Нам необходимо по *телеграфу* знать твое согласие или veto, а изменения могут прийти письмом. Но и письмо ты высылай скорее! Письмо с твоей корректурой ты адресуй в "Путь" на имя Булгакова. Напиши ему подробно, он очень принимает к сердцу это предисловие, т<ак> ч<то> ты основательно напиши ему, если в чем не согласен, в отдельности, или если вообще не хочешь этого предисловия как общего выступления. Очень, очень тебя прошу и *мне* телеграфируй то же самое, т. к. и я очень принимаю все это к сердцу и буду жаждать твоего слова. Телеграфируй Ялта, гостиница "Россия". Я досадую, что не ты все это написал, это было бы важно для "Пути". Вообще, по-моему, желательно предисловие к сборникам как нашей боевой линии. Но я бы хотела, чтобы ты внес большую мужественность и яркость твоей живой и талантливой рукой и головой во все это немного расплывчатое. Представь, что *я* многое уже там забраковала, и особенно находясь под влиянием твоей чудной критики Вост<ока> и Запад<а> у Соловьева. Но боюсь и сейчас елейности, расплывчатости и неопределенности!

Дорогой, милый, прекрасный, умный, солнце мое, душа и радость! Ты совсем не понимаешь, как я тебя обожаю.

92. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[15 марта 1911 г. Капри. В Ялту.]

15 Февраля*. Капри

Милая Гармося

Если получишь это письмо с большим опозданием, не удивляйся. "Чижа захлопнула злодейка западня". Это сделал со мной Capri. Мы здесь уже 5 дней. Я буквально очарован совершенно неслыханной красотой, красочностью и разнообразием здешних видов. Весь Крым и всю Ривьеру можно за это отдать; а из неаполитанского залива это — лучшее, но… к

сожалению, при этом Капри — остров. Вчера и сегодня буря crescendo; говорят, сегодня с вечера перестанет ходить почта, т. к. пароход не может причалить, и мы будем отрезаны от всего мира. Такое положение тут продолжается иногда несколько дней. А мы как раз было собрались выехать отсюда именно на эти несколько дней до Флоренции [в] Амальфи.

Сейчас здесь невыносимо: на улицу носу показать нельзя, холодно, да и прямо несет вас ветром; а ночью нельзя спать от свиста, рева и хлопанья ставень.

Как раз в обстановке такой погоды пришли сюда известия о втаптывании в грязь Думы и о китайской войне[180]; и все эти впечатления слились для меня в одно. Скоро в России засвистит самая жестокая из бывших доселе бурь. При каждом новом известии кажется, что край правительственного безумия уже достигнут; но сейчас же вслед за тем приходит еще известие, доказывающее, что предыдущее безумие уже превзойдено. И никакие уроки прошлого уже не помогают! Опять, совсем как в 1904 году, правительство борется зараз и против всех *внутри* и против Дальнего Востока снаружи. Мне все казалось, что до заключительной катастрофы еще ужасно далеко. А теперь она страшно приблизилась, надвинулась совсем! И эта быстрота назреванья революции — фатальна. Всю культуру сметут. И чего не разрушили справа, то довершат слева. Левые еще заставят пожалеть о Столыпине. Вот он, крест России. И, сколько бы она его ни несла, ничего приличного в государственной жизни она не создаст. Совсем это не ее дело и не ее призвание: средних добродетелей у нее нет! Безотносительно прекрасное в религии, искусстве, философии она произведет; но в области относительной, житейской все и всегда будет безотносительно скверно: тут мы — бездарны. Оттого наша повседневная, будничная жизнь есть и будет невыносима. Кто знает, может быть, именно это нам и нужно, чтобы не дать нам успокоиться и застыть на будничном, повседневном или хотя бы на среднем. Жизнь только и делает что все относительное разбивает. “Захотели конституции — вот вам конституция”! “Университет — вот вам университет”! Все это для того, чтобы русская душа прилеплялась к тому, что больше относительного, против чего ни Столыпин, ни Кассо, ни правые, ни левые ничего не могут.

Так всегда у нас и будет. Величайшее рядом с постыдным и плоским и никогда — среднего. Может быть, это связано с высотою нашего призванья; но если так, то “тяжела ты, шапка Мономаха”.

Милая, родная моя и хорошая, среди всего этого думаю много о тебе. И в буре, и в непогоде, и в серой погоде будь ты

моим солнечным лучом. Но уж если тебе быть моим солнцем и радугой, то помни, что радужные и солнечные краски не идут к относительному; не там им место. А потому не жалуйся, когда я разрушаю относительное, и говори, что оно — обман. Право, само относительное, особенно наше русское, неизмеримо мрачнее всякого мрачного скептицизма. И особенно не называй мой скептицизм римским. Именно наоборот — в римском настроении скептицизм отсутствует, а есть сильная вера в земную стихию, в относительное, заменившее Христа.

Целую тебя крепчайше

93. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[20 марта 1911 г. Неаполь. В Ялту.]

20 Марта

Милая и дорогая Гармося

Буря прекратилась, и я пишу тебе из Неаполя на выезде из [в?] Флоренции, в последний раз глядя на море, и думаю о том, что как раз и ты сегодня на него смотришь. Хочется мне крепко тебя поцеловать, моя дорогая, и сказать тебе, что очень соскучился без твоих писем, которые ты, очевидно, слишком рано начала посылать во Флоренцию.

Я живу, подавленный ужасом при виде надвигающейся на Россию грозы. Столыпин *один* идет против всех, против инородцев, против Думы, университета[181], против всей России и всего Китая. Боюсь, что близится *ужасный* конец, и не радуюсь, потому что жду не добра, а настоящей *сатанинской* оргии от будущей революции. Обе борющиеся стороны будут попирать ногами Россию. Левые будут благословлять китайцев, как они благословляли раньше японцев, и это будет невероятно противно.

Ты пишешь в своем письме, что были сделаны какие-то ошибки со стороны Московского университета и что я мог бы их предотвратить, если бы был в России. Этому я положительно *не верю*. Надвигается буря настолько стихийная, что никакими усилиями ее предотвратить нельзя. Случившееся с Моск<овским> университетом так же неизбежно и естественно, как то, что во время грозы молния падает на самые высокие предметы. Делай или не делай тут ошибок, но ведь разгром всего прекрасного, всего не дикого, всего, что содержит какой-либо зачаток культуры, теперь неизбежен. Чья личная мудрость могла бы теперь предотвратить разгром конституции? Так же неизбежен и разгром университета. Сколько ни трать сил, а это — неизбежно будет.

Что меня не было в Москве, об этом я *для дела* нисколько не жалею. Никогда не убежал бы от борьбы по собственной

инициативе, но не буду жалеть о том, что сама судьба меня отстранила от этого, дав возможность вместо того здесь делать дело, в плодотворность которого я в самом деле верю.

Не для дела, а скажем прямее — для меня и для тебя это долгое отсутствие очень тоскливо. Писать письмами уж как-то не хочется теперь, а поскорее и непосредственнее всю тебе душу вылить. Ну до свиданья, моя дорогая и хорошая и горячо любимая. Целую тебя крепко.

94. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[Около 20 марта. Москва или Ялта. В Неаполь или Флоренцию.]

Дорогой мой, радость моя, сокровище и счастье. Сейчас получила маленькую записочку твою — такую милую. А то сколько мне огорчений, сколько грусти от тебя! И за что все это, не понимаю! Я много тебе писала, хотя, правда, отрывочно, потому что, право, у меня нет сил спокойно писать. Как начну писать, столько всего подымается, что чувствую, что нет сил справиться. Когда человек *слишком* чем-нибудь страдает, то говорить нельзя. Можно плакать, можно кричать, можно стонать, можно болеть — но говорить и писать — нельзя! Оттого не могу я до конца все тебе сейчас высказать. Когда придешь — все буду говорить. А так — многое я тебе высказала. Одно меня терзает, что ты всегда думаешь, что ведь и во всем у меня подкладка личная! Уверяю тебя, что я в твоей *постановке* вопроса, главного мирового вопроса — вижу, понимаю и верю — очень большое и глубокое. Это я тебе писала. Но тем более я боюсь, будет ли содержание, положительные ответы соответствовать ширине и огромности постановки этого вопроса! Я уверена, надеюсь безгранично, что это будет, что у тебя все данные на это! *Надо,* чтобы не было драмы Платона[182], чтобы хватило *любви, творчества* на это! *Здесь я* вижу и верю, что может иметь все объективное значение, *мое* участие и вынашивание всего твоего! (Помнишь [?] жены-мироносицы.) А вот в этой главе — я *боюсь,* что ты уклоняешься и замыкаешься в “свое”, а не идешь навстречу “вечно женственному” началу любви и творчества. (“Свое” я предполагаю не твое личное, а твое мужественное, слишком разумное!) Если бы это не касалось такого самого интимного, душевного в творчестве Сол<овьева> и так близкого моей душе — я бы так не боялась! А тут именно в этом самом нашем с тобой *духовном*, интимном соприкосновении наших душ, тут-то если не пойдут наши души *навстречу* — тут-то и произойдет катастрофа всей жизни и, что неизбежно, всего дела! А мы с тобой так *много* можем сделать! Если бы я не верила, что

наша любовь нужна даже России, неужели бы с такой силой ее отстаивала! Неужели можно столько переживать, столько попирать и стольким жертвовать — если не имеешь огромной и непоколебимой веры в идеальный и вместе реальный смысл этого союза! И самое святое *это все* и есть, и подымать руку на. это — это совершать преступление! Значит, ты *не веришь,* значит, ты *не знаешь,* что это и во имя *чего это,* если может так затмевать тебя ничтожное тело, чтобы ради него ты заносил кинжал на душу. И душу не личную, а *ту,* долженствующую родиться, ту цель, тот смысл, ради которого все это есть. Он только один оправдывает и разрешает все! *Вот что я*почувствовала в этой главе и вот в чем мое страданье! Если ты и сейчас в моих словах не почувствуешь меня, *всей* моей души — то это для меня ужасно! Единственная сила моей жизни в том, чтобы *вся* твоя душа жила, творила и раскрывалась со мной! И когда я чувствую остановку — мне ужасно, я чувствую смерть! Не крест я отрицаю, а требую внимания к жизни и любви. У Гёте так хорошо сказано!

Im tiefen Boden
Bin ich gegrundet;
Drum sind die Bluten
So schon geriindet*[183].

Радость моя, счастье мое, прекрасный мой, волшебный мой, солнце мое! Мы должны быть вместе! Все я отдам за это, ничего не боюсь, потому что верю!

Кроме всего мы так прекрасно пополняем друг друга.

Целую очень крепко. Твоя Гармося.

* В глубоких недрах / Я укоренен; / Потому так пышны / Мои цветы (кем.).

95. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[22 марта 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

22[e] **марта**

Дорогой, милый, прекрасный мой! Так обрадовалась, приехав сюда, получить твое всегда дорогое и милое письмо! Смотрю на море и утешаюсь, хотя очень мало, что и ты там тоже смотришь на море! Но вместо самого чудного лазурного моря и больше всех красот на свете — для меня видеть твое бесконечно дорогое лицо и всего тебя, моего бесценного и любимого! Вот в чем между нами противоположность и не совсем та, которую и я утверждаю. Когда я с тобой, *я* вся *живу* тобой и кроме тебя мне ничего не нужно, я переживаю в тебе реально образ всеединства! И что очень важно, глубоко верю в святость и плодотворность этих минут для всего в жизни! Ты же совсем не то! Ты всегда думаешь, всегда рассуждаешь, никогда беззаветно не отдаешься, все

наполовину! Это вечный источник мученья для меня, кроме всех других мучений! Вот, например, как я была бы счастлива, если бы получила *хотя бы одно нетрезвое письмо,* по-моему хорошее! Что может быть счастливее! А ты, наоборот, радуешься моей трезвости! Да неужели ты на самом деле не видишь, что нам с тобой, одинаково, очень опасно сделаться трезвыми, потому что наша жизнь так трудна и сама всегда только и призывает к трезвости. Наоборот, если мы будем иметь минуты полного забвенья и беззаветности, жить всем существом, то только тогда мы и сохраним бодрость духа, а главное, свежесть, отзывчивость и чуткость души! Одинаково страшно для нас обоих заглохнуть душой! — А борьба — это то, что есть самого ценного в наших отношениях! Я знаю, что она всегда будет! Напрасно ты думаешь, что я не ценю этой борьбы и не вижу всей ее глубокой плодотворности! Я вовсе не так глупа и так слепа! Я очень хорошо все вижу, уверяю тебя. Но все-таки, скажу по правде, должны быть и минуты отдыха, ну а потом и опять в путь. Должны быть минуты единения, гармонии и слияния (ай, ай — мое любимое и твое ненавистное слово, не злись), иначе сил и смысла борьбы не будет! Необходимо, чтобы можно было вздохнуть всем существом для того, чтобы идти *вперед,* иначе свалишься и никуда не пойдешь, если не назад! А это все уже трагично! Тезис, антитезис, но непременно синтез!

С этим *я* вполне согласна! Я люблю борьбу и люблю полноту, за то и тебя люблю! В тебе для меня борьба вечная, следоват<ел>ьно, постоянно я должна идти вперед, совершенствоваться! Это самый большой залог хорошего для меня, т. к., слава Богу, никогда не могло быть опасности брака для меня с тобой! Это главная опасность для меня, когда я могла бы погрузиться в тебя как в Женичку. Этой опасности не существует! Поэтому я всегда так отдаюсь моему чувству, до дна, зная, что сама жизнь меня ограничивает. Мало того, этим она меня *вынуждает* к очень большим жертвам, страданьям и очень большой работе над собой, которые не могут не быть плодотворны! Кроме того, хотя моя любовь и мои желанья грешны, я это знаю, но я знаю, что, живя так, я больше в своей жизни сделаю добра и больше буду жить *общей* жизнью, чем живя в безгрешном браке! Это я про *себя* говорю и про любовь свою к такому человеку, как ты! Может быть и обратное. Но я говорю про себя, имея в виду все соблазны и опасности своей души и природы! Потому я и знаю, что ты — мое спасенье!! Мне смешно, что ты *м н е* говоришь “не надо замалчивать спорное”! Ну скажи, похоже ли это на меня! Да *я в с е,* и часто к своей невыгоде, тебе высказываю и выкрикиваю! Вот уж смело могу сказать, что самые

*тайные*углы моей души перед тобой! Я даже скорее преувеличиваю дурное, потому что мне ужасно противно впасть в сентиментальность или как будто угождать тебе! Я тогда сама себе могу быть противна, потому что ненавижу сентиментально-добродетельных чувств и боюсь их как огня!

Особенно с тобой, мне тогда кажется, что я подделываюсь к твоему любимому тону! Вот видишь, ангел мой милый, что я вся тут! А вот ты — дипломат. Ты со мной всегда ведешь политику, того не скажешь, этого не покажешь! Ну да как хочешь, мое сокровище, делай все как хочешь, только будь со мной! Я ведь и насчет тебя уверена, что хотя и много тяжелого для тебя во все[м] этом, и мучает тебя то, что нет тут *всей* правды, но это и для тебя очень глубокий стимул для больших завоеваний! Потому что и твоя натура двойственная. Два мира борются! Пусть борются — все равно победит свет, я это знаю и уверена. Потом одно меня *главным образом* утешает, что В. А. всегда была и есть с тобой, и ей предоставлено *все,* чтобы тебя свободно завоевать, а этого не происходит. Ведь нельзя же одним законом или жалостью завоевать душу! То, что она действительно завоевала — твою *дружбу*-любовь, твою преданность, Ваше семейное начало, то и есть! А твою настоящую страстную любовь — об этом я буду спорить и не уступлю! Хотя бы ценой жизни — но буду воевать и не уступлю! Как ты можешь вообразить, что я “махаю рукой”. Ты, значит, ничего там не понимаешь! Вот я боюсь, что разоткровенничалась, а ты меня опять начнешь поучать и останавливать! Ради Бога, уверься ты в одном, что ничем ты моего пыла не успокоишь — это в моей природе! Только с годами это уляжется — не иначе!

А вот обратить этот пыл на добро — это в твоей власти. Но, конечно, если ты будешь уезжать без конца и уходить *только* в кабинет, конечно, я в конце концов совсем сломаюсь! Прости за все, что говорю! Ангел милый, я это все говорю очень покойно и “трезво”; уверяю тебя. Радость моя, потому ведь, что я скоро тебя увижу! Ты не можешь себе вообразить, *ч т о* со мной делается, когда я думаю обо всем этом. Все свои силы хочу употребить, чтобы встретить тебя так *дружественно-тепло* и *трезво-хорошо,* как *ты сам* об этом хлопочешь! Да кроме того, ты так возмутительно написал, что ты останешься дольше, что это зависит, “какие мы будем”. Так вот я буду трезво-хорошая! Может быть, ты тогда и побудешь со мной хотя немного подольше? Хотя, кажется, нужно ликвидировать квартиру! Ах если бы ты был на моем месте, мог ли бы ты все это выдержать и все-таки *так* любить меня, как я тебя. Счастье мое и радость, обожаю тебя, но с удовольствием буду тебя колотить за многое! Достанется

тебе! Отольются волку овечьи слезы! Насчет предисловия я со всем согласна — ты прав, и очень умно и глубоко прав. Но может быть, *это* предисловие, исправленное и довольно скромное, — тебя не возмутит и ты согласишься его напечатать. Одно меня *огорчает* очень, это то, что ты говоришь, если Булг<аков>, Берд<яев> и Эрн хотят, пусть выставляют это знамя одни. А я скажу нет, тысячу раз нет! Где же опять твоя любовь к России и к нашему *общему делу?* Дорогой мой, не забывай, что *нет* людей сейчас, что нельзя швыряться Булгак<овым>, Бердяев<ым> и даже Эрн<ом>, а *надо с* ними бороться и всем нам соединяться для общего дела. Ты, значит, не любишь "Путь" и не ценишь его как почву для. объединения и влияния. Ты всегда это забываешь! Опять гордыня и аристократизм! Я очень радуюсь, когда ты сильно протестуешь.

И сейчас, если ты не хочешь предисловия, — то это правильно и его не будет. А отделяться и брезговать *нами*, т<ак> ч<то> (я с "Путем"), дескать, вы печатайте что хотите, — это ужасно! Так же, как печатать твоего Соловьева не в "Пути". Значит, ты порываешь дело со мной и со всеми. Но ты этого не сделаешь. А разве мы все не хотим *делать дела,* свидетельствующ<его> о миссии России. Каждый из нас хочет делать дело по-своему! Ты спорь и не соглашайся, но не презирай и не отворачивайся! Никого ведь нет больше! Не отделяйся от нас — это ужасно. Напиши Булгак<ову> все то, что ты мне написал, но скажи так, что ты не предполагаешь, что тут возможно *их* выступление без тебя! Все *должны* быть вместе! Тогда не нужно предисловия — никто на это не претендует. Но то, что *дело общее,* это дорого всем. И в этом я себя чувствую с ними близкой! Неужели ты ближе с Струве, Котляревск<им>, Лопатиным, Хвостов<ым>? Неужели? Но тогда я уже разойдусь с тобой, потому что *назад* я не пойду! Я найду силу с ними пойти дальше и *делать дело!* Неужели ты не любишь и этого нашего общего дела и оно тебе не нужно! Как: это больно! Но хотя для *меня* его побереги пока! Милый, ради Бога!

96. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому [23 марта 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

23[e] м<арта>

Дорогой, милый Женичка! Вчера писала тебе, но сегодня, подумав, осталась недовольна деловой частью своего письма, потому пишу сегодня как следует о деле! Вчера писала в тумане и забвении чувств. Дорогой мой, хочу все разобрать, что ты пишешь *по поводу* предисловия. Меня оттого так интересует и кажется важным это предисловие, потому что важно и интересно для меня

все, что выясняется *по поводу* этого предисловия. Его самого может и не быть — это неважно, но ты не можешь себе представить, как ярко для меня обозначилась твердость или шаткость многого и что важно для ведения *общего*дела и для будущего, ясность или спутанность ума у каждого из наших сочленов. Все, что ты говоришь, меня очень воодушевило. *Я обожаю* в тебе твой смелый, сильный протестующий тон! Что, значит, ты все глубоко продумал и *пережил!* Чем ярче, сильнее ты будешь ставить все вопросы, пусть наперекор всем, тем больше жизни у нас будет в “Пути”, тем это все заставит всех глубже продумывать все эти важные положения. Дорогой мой друг, как ты нужен, как полезен, как много ты можешь двинуть не только меня, но и всех других, ставя перед всеми все эти проблемы с твоей ясностью, правдой и силой! Пусть пока это кружок, но ведь мы можем завоевать и молодежь. Потом я мечтаю, что можем пересоздать преподавание по многим вопросам, особенно религиозному. Об этом после. Вообще надо делать, надо верить! Мы все все-таки честные и бескорыстные, а таким ли людям в России не работать!

Дорогой, потому умоляю тебя, не отходи от этого дела, а будь душой с нами. Борись, обличай, спорь, не допускай многого — это все будет святое дело! Но не ставь никогда вопроса так, что пусть печатают одни — я не дам статей или не дам книги! Это ужасно. Ну, кажется, ты понял, *что* мне больно и что больно для дела. Я только и верю, когда ты тут. Чувства, горячности к делу много и у Булгаков<а> и Бердяев<а>, но того *ума*, той *силы, смелости* и независимости, как у тебя, у них нет! Напиши все Булгак<ову>, что ты думаешь. Насчет Эрна — ты прав тоже. Но не можем мы не поддерживать молодых людей, идущих все-таки этим путем. По-моему, наш святой долг идти навстречу молодежи, которая ищет религиозного пути. Нам придется ежегодно на это давать тысячи три и издавать такие произведения. По-моему, иначе нельзя. Черствости, сухости и академичности не должно быть в нашем деле. Пусть лучше будут ошибки. Ты не можешь себе представить, как я исстрадалась за наш “Путь” в Москве. Все в интеллигентск<их> кружках, конечно, с нами очень считаются. Степпун, Яковенк<о> и все Логосы и Кубицкие только и предлагают себя. Степпуны и Яковенки чуть ли не от взглядов своих отказаться хотят, лишь бы мы их взяли. Но тут я очень резко и наотрез отказала. Продажных перебежчиков нам не нужно. Это одна сторона. С другой стороны, у нашего “Пути” есть *мелкий* враг — Хвостов, он меня извел. Но что хуже, он возбуждает Льва Мих<айловича>.

Я решила по возвращении атаку провести на Левона. У нас

было втроем бурное столкновение. Я их обличала в мертвом сне и говорила, что хотя мы плохи, однако у нас собрания, кружки и “Путь”, а у них ничего, и если бы не я, и журнал бы, пожалуй, кончился[184]. Этого последнего я не сказала, но ведь это так. У нас с книгой Левона вышла драма[185]. Корректир<овал> ее Эрн и сделал это ужасно. Ошибок тьма. Эрн в отчаянии. Это в последний раз, что мы даем ему такую работу. Но ты посуди, что это всегда может случиться. Особенно в новом деле. Левон *жесток* к Эрну и вообще к нашему делу, ужасно. Хвостов мефистофельски злорадствует. Мне все это больно. Я знаю, как трудно делать дело. Но ты-то уж, ради Бога, не будь таким же жестоким. Вернусь к предисловию. Надеюсь, ты все понял, что я думаю. Так, значит, ты и напиши, что ты находишь предисловие излишним. Но для меня вся эта работа и разговоры о предисловии были очень важны, и я рада, что все вообще так было. Всех я сознательнее оцениваю во всех отношениях. За все это время у нас не было заведующего Изд<ательств>ом за болезнью Гр<игория> Ал<ександровича>.

По-моему, нам *не надо* такого лица, оно только будет мешать. За это время мы это выяснили. Только одно есть смущение, кто тогда возьмет ответственность перед судом за какие-нибудь недоразуменья. Это единственное, что меня заставляет колебаться. Нужно лицо, которое бы *знало* каждую выходящую книгу и отвечало за все. Или можно поручать Рачинск<ому> как знающему просматривать некоторые книги. Как заведующий и Рач<инский> и всякий другой нам будет в тягость. Все вопросы лучше обсуждать коллективно, а дело мы устроили очень хорошо. Изданы книги технически (бум<ага>, типогр<афия>, обложка) очень хорошо. Все магазины и вообще все это говорят. Отчетность поставлена и все расценки правильны. Переписку можно делить. Я очень хотела бы отменить Рачинск<ого> и всякого заведующего. Но остается вопрос об ответственности. Что делать? Подумай и напиши, мой ангел. Вообще как я вижу твою необходимость для религиозно-общественного дела в России. Как меня мучит вопрос о твоей дальнейшей деятельности!! Но это я оставляю до твоего возвращения. Уверяю тебя, что наш “Путь” и Религ<иозно>-филос<офское>-О-во Соловьёва — это почва, которой ты не пренебрегай. Очень трудно проводить свои взгляды где бы то ни было. А если не будет университ<ета>, то что будет? Шанявск<ого> — это тоже шатко. Милый, радость, до свиданья! Ах, когда я буду говорить с тобой обо всем, когда я дождусь этого? Целую крепко.

97. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Флоренция. В Москву. Принята 25 марта 1911 г.]

Preface Boulgakoff inadmissible envoye texte complet change Troubetskoy*.

98. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[25 марта 1911 г. Флоренция. В Ялту.]

25 Марта, Флоренция

Милая Гармося

Вчера во Флоренцию приехал и получил сразу три твоих письма. Начну с деловой части.

Предисловие Булгакова ужасно. Безвкусный шовинизм с допотопным славянофильским жаргоном, притом крайне размазан и бездарен. Что мне оставалось делать. Писать *свое* предисловие — во-первых, для них обидно, а может быть, *мое для* них столь же неприемлемо, как ихнее для меня. Поэтому я взял из их же предисловия все приемлемое для меня, сделал полстраницы из трех и в заключение целиком взял булгаковскую последнюю страницу, где излагаются намерения “Пути” относительно последующих изданий. Вышло сухо и бесцветно, но для предисловия *от общего имени*достаточно: то, в чем мы сходимся, — признание религиозной *христианской* задачи России, выражено совершенно ясно в одной *фразе,* и этого довольно[186]. Пусть яркие и красочные статьи пишутся каждым за собственной подписью и ответственностью. Говорить же *от моего* имени, как я решаю или буду решать религиозные вопросы, я не позволю никому.

Помня, однако, твою просьбу, я послал всем четырем “путейцам” чрезвычайно ласковое по форме, но весьма решительное по содержанию письмо, где, между прочим, говорю, что если предисловие будет сохранено, я прошу не печатать моих статей в сборнике. Аргументирую я там обстоятельно и тоном очень мягким и в заключение прошу переслать письмо тебе[187], чтобы ты сама рассудила, мог ли я поступить иначе. Разумеется, этот “ультиматум” относится к ним, а не к тебе, т. к. ты, конечно, на печатание сборника без моих статей не согласишься.

Что касается тебя, то я пишу тебе в день Благовещенья; и мне особенно хочется, чтобы письмо мое было для тебя благой вестью. Хочу верить, что между нами происходит сплошное недоразумение. Ведь идеал мой — светлое Христово воскресенье — радость всему миру; а крест — не цель, а только путь, который, кстати, *не я же выдумал.* В письмах и писаниях моих я утверждаю только одно: кто не сораспнется со Христом, тот и не совоскреснет с ним. Ты

*Предисловие Булгакова неприемлемо посылаю полностью измененный текст Трубецкой *(франц.)*.

пишешь, что этого не отрицаешь? Но тогда в чем же дело? За что ты на меня обрушиваешься? За то, что я говорю об этом слишком много. Но если я увижу, что ты это признаешь *вполне,* то писать и говорить об этом не буду. Но почему ты сочла “буддизмом” мое развенчание наивной “русской” теократии Соловьева, этого я не понимаю, когда ты тем же самым раньше восхищалась, этого я не понимаю. Если “третий Рим” мираж, то неужели же все мираж? Если я в этой же главе не говорю о *положительной* задаче, *положительном* значении России, то ведь одна глава — не целое, а часть. Об *этом* по плану моего сочинения должно говориться в конце его. Ты говоришь: “все это *одно* только разрушение”. Но неужели жалко разрушать петровские “три кущи”, которые и глупы и кощунственны. Без разрушения немыслимо созидание. Ты же, когда читаешь разрушительную главу, *должна знать,* во имя чего я разрушаю. В следующей главе (теперь законченной) — идет знакомая тебе апология государства и апология относительного.

Главное же, чего ты совсем не принимаешь во внимание, сколько во всем этом утверждении “креста” тревоги *от любви* к тебе. Такой страх, что самое мое святое святых останется тобой не разделенным, такое горячее желание приобщить тебя к нему. А при этом столько борьбы против собственной моей страсти, которая во мне кипит и клокочет!

Я тебе скажу вот что. Слава Богу, с детства и до сей поры я каждый год переживаю Пасху как светлую радость, озаряющую на целый год все существование, люблю ее и чувствую ее детски жизнерадостно. И это, между прочим, оттого, что каждый год я сильно и глубоко переживаю неделю страстей Христовых. Если бы на эту неделю я не откликнулся во всю глубину крестной муки, то чувствовал бы себя неспособным к радости, красоте и светлому подъему. Вот что крест для меня — смерть и победа смертью, жизнь, светлое воскресенье. Одно с другим неразлучно. И для того, милая моя, мне хочется, чтобы ты подняла и почувствовала крест, чтобы и ты могла потом и тут же ощущать эту беззаветную светлую и безбрежную радость.

Ах, если бы *ты* могла это почувствовать и если бы на этом произошла наша встреча. А то боюсь, что не я, а *ты* теперь замыкаешься в своем, а моего не вынашиваешь, потому что не хочешь принять. Не сомневаюсь в том, что *в самом себе* я живу. Но неужели же я в самом деле *для тебя* отжил? А я все-таки, хочешь или не хочешь, — настойчиво буду предлагать свое: “Христос

воскресе из мертвых, *смертию смерть поправ”*.

Христос воскресе, моя бесценная, милая и дорогая. Крепко, очень крепко тебя целую.

99. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[28 марта 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

Во Флоренцию, кажется, 6-е письмо

28^е^ м<арта>

Дорогой, родной и хороший мой! Сейчас получила твое письмо, накануне перед отъездом из Неаполя. Спасибо за него, мой ангел! Оно было мне страшно нужно — развеяло немного тоску, дало силу жить и ждать. А то иногда совсем невыносимо становится, кажется, что схожу с ума, совсем свалюсь! Тоска и грусть ужасная! Ах как тяжело и больно! Когда-то дождусь луча солнца для себя! Вчера ругала тебя, что ни разу не напишешь сам, по влеченью сердца, а все только ответы на мои письма! Это письмо хотя не такое уж горячее, но, кажется, самостоятельно написано! Хотя это меня утешает, а то совсем леденеет душа! Вообще грустно и тоска! Но я все-таки рада, что уехала сюда, а то мои нервы пришли в ужасное состояние последнее время! Здесь я много лежу, сплю и больше ем. Гуляю и катаюсь, т<ак> ч<то> здоровье здесь уже лучше. Экзема проходит. Пью разные лекарства. Все это делаю с настойчивостью и рвением, т. к. *хочу* быть сильной и здоровой к твоему приезду — это необходимо и это будет! Мике тоже здесь лучше. Он спит со мной, и я целый день с него глаз не спускаю. Маруська весела и катается верхом. Читаю здесь очень много, Киреевск<ого>[188] и Несмелова, “Наука о человеке”[189]. Киреевский очень симпатичен, много верного говорит, даже верно основное, но, в общем, расплывчато и неглубоко все продумано. Действительно, славянофильская точка зрения в этом смысле опасна и безжизненна! Но самый смысл, искать корней для понимания задачи и пути России в недрах ее истории и психологии, — это глубоко верно! Вот сейчас, как ты верно говоришь, все стихийно развертывается по каким-то путям, логика ускользает от нашего ума! Смотришь и наблюдаешь и ничего не можешь ни понять, ни предвидеть! Перед отъездом моим был у меня Григорий Никол<аевич>[190] и так меня утешил, ясно и очевидно доказывал, что Столып<ин> уйдет и что тогда для Университ<ета>, может быть, все изменится. Хотя *этим* можно было утешаться, т. к. для *России* особенного изменения ни от Столып<ина>, ни от кого другого не произойдет.

И вот что же, опять нашлась возможность какого-то приспособления к и этому, казалось, безвыходному. Вот и

думаешь, видя это все, что в чем-то и как-то не умели задеть души России или, вернее, не в том ее душа и ее назначение. Ты прав, мой дорогой, что государственная жизнь России будет всегда безобразна, уродлива, бесформенна. И конечно самое важное *сознать* это и обратить весь свой духовный взор и все силы на область Безотносительного! Не это ли главная задача? Не важно ли пробуждать это сознание и в этом смысле продолжать линию славянофилов? Не это ли *твое* дело и дело нашего "Пути"? Но не забудь, что область Безотносительного совершенно реальна, имеет образы и краски и реально преображает жизнь, оставаясь жизнью! И о России *в этом смысле* можно мечтать и *в этом смысле* верить в ее могущество! Но прежде разбить — рационалистически — западно-внешний идеал ее благоустройства и правопорядка! Я уверена, что *относительное* благоустройство и относительный правопорядок приложатся — лишь бы был создан смысл и верно понята душа России. Это великое дело и святое — я *так* понимаю и только так признаю смысл твоей работы.

Это не только для России, но и для всего мира — единственно истинный путь! Какое бы дело делать, хотя самое практическое, надо думать и помнить его непрактический смысл — иначе ничего не выйдет. Тебе непременно надо будет написать потом свою философию Русской истории, органически продуманную и пережитую. Это тоже важно для сознания. Я уверена, что если *все* сознают это, то будет и Университет и все будет. Только надо подойти изнутри и совсем освободиться от политики, а устремить исключительно свой взор к Безотносительному. Вот эта ошибка и была сделана сейчас в Университ<ете>. Это *духовная*ошибка, очень глубокая, а не тактическая. Опять ворвалась политика внешняя и не дала душе проверить свою сущность. Если ты наконец глубоко сознал этот русский умопостигаемый характер, то ты сумел бы повлиять. Надо с умом овладеть русской *стихией,* а не логически рассуждать. Надо медиумически действовать, душевным осязанием, а не разговорами. Оттого такой разлад во всем! Как мы с тобой разны! Будь я на твоем месте, в совете Университета, я бы ни за что не допустила такой ошибки или пришла бы в отчаяние, если бы не овладела Советом.

А ты *не веришь* в такое дело! *По-моему, у* тебя это происходит тоже по ошибке! Ты еще стоишь, в духовно-психологическом смысле, на западной почве и потому не можешь овладеть душами, ты слишком логичен, слишком воспитан на рационализме, последовательном умозрении! А по-моему, сейчас в России *творится* новая, настоящая жизнь, и нужно действовать чувством.

При Александре 111-ем — жизни не было, потому достаточно было мыслить о жизни, а теперь надо жить, т. к. есть возможность, но непонятно, *как* надо творить жизнь. С *твоей* точки зрения ты прав, что *один* человек ничего не сделает, разговорами и *своей* логикой.

Но человек, отрешившийся от себя в смысле *своей логики* и ставший до некоторой степени медиумом, — может очень много сделать, я в это верю. Это *мой метод*. Все так хаотично, так стихийно в России, надо очень глубоко захватить все, чтобы объединить. А тут в Университете, в трагическую минуту, вдруг влияние Вернадского, узенькое кадетство, какие-то Хвостовы и подобные. Ну могло ли это охватить весь Университет, состоящий из русских благодушных обывателей, но, может быть, и глубоких душ! Вот и получилась путаница! Это-то и трагично. Я понимаю мучительные чувства Левона и Серг<ея> Андреев<ича> в этом смысле![191] В "кадетском" смысле ты не мог ничего сделать, но если бы ты, о чем я молюсь Богу больше всего, снял с себя эту оболочку и проникся *реальной правдой жизни,* не мысленно, а *чувством* Безотносительного, т. е. любовью ко *всем* людям, ты сделал бы великое дело! Положил бы начало духовного воскресенья России. *Этого дела и этой правды*я от тебя жду, и она побольше, *с моей точки зрения,* соблюдения *физической* верности своей жене, хотя бы ее и не любишь! Я даже больше верю, я верю, что только этот путь и это внутреннее освобождение от коры рационалистического метода жизни приведут тебя и меня к воскресенью для новой жизни, не из ревности жене, т. к. это само приложится, а из истинной живой любви к Богу! Ах если бы ты сумел больше слышать мои нескладные слова, мое кажущееся противоречие, чем гладкие слова В. А. и ее последовательность.

Я, разумеется, говорю не о В. А. эмпирической, а о ее идее. И говорю слышать не о твоем уме, а о твоей душе и сердце. Победа в том смысле, как ты ее хочешь, есть та же, что и я хочу! Но *пути* мы понимаем по-разному. Твой метод — смерть всего и смерть твоей деятельности. Мой не в смысле моего личного путь — воскресенье. Если бы ты мог меня услыхать и *почувствовать*. Понять ты можешь, но это ничто. Мы об этом и спорим! Это очень глубокая, очень сложная область! Но я верю и знаю, что *только* это и нужно! Целую крепко. Ответь на это! Мне очень важно.

Твоя Гармося.

100. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[29 марта 1911 г. Флоренция. В Алупку, переслано в Ялту.]

Гармося, милая моя, хорошая, красавица моя ненаглядная!

Хотел бы я излить тебе в письме всю нежность, которая есть в душе моей к тебе. Но на бумаге этого не сделаешь. Это можно только при свидании, и то на ушко, чтобы никто, никто на свете не слыхал, а только ты да я. Ты никому не расскажешь, что я тогда тебе скажу и в чем признаюсь (который раз!); а я ничего не расскажу, что ты мне ответишь! Давай условимся так, что ли, а?

Хотел бы я, чтобы ты почувствовала меня в эту минуту и поняла меня хорошо, в каком я настроении пишу. Если ты подумаешь, что это настроение — весеннее, цветочное, словом, *флорентийское* (“Флоренция” по-русски буквально — “цветник”), то ты будешь права. Но если ты вообразишь, что оно исключает римское (которое ты называешь мрачным), то ошибешься жестоко. Не исключает, а дополняет. И вот каким образом.

Сегодня я был в монастыре св. Марка — самом мною любимом месте из всей Флоренции, и в третий раз [в] жизни был до дна души потрясен религиозной живописью Fra Angelico, которой равной в мире не знаю. Что это за колоссальная мощь религиозного гения, которая на расстоянии столетий заставляет плакать, и какими простыми средствами, при таком полном отсутствии каких-либо внешних эффектов. Общее настроение — страстной седмицы, сиденья у подножия креста: все это он переживал и творил в бессонные ночи, в молитве, писал с потоками слез.

А после того я поехал в Caschino (помнишь, чудный загородный парк). Там изумрудная трава, яркая весенняя зелень на деревьях и чудные, весенние птицы, которые, заметь, во всем мире говорят по-русски, т. е., попросту сказать, на общем птичьем и вместе общечеловеческом языке. И я почувствовал, что все это *мое* — и зелень, и птицы, и вечная весна, все это искуплено от смерти и навеки воскреснет. Вот она, *правда креста,* и вот почему я ощутил радость! Всегда после страстной — *сей день, его же сотвори Господь!*[192]

Уверяю тебя, моя милая, что, не будь я сегодня утром у св. Марка, не почувствовал бы я с такою силою эту радость, этот призыв к вечной весне и ее обетование. Милый мой ангел, не к мраку я тебя зову, а предлагаю тебе тот единственный путь к весне, в который я верю.

Помнишь ли ты меня немного? Ведь не всегда же я мрачный и грустный! Иногда и во мне птицы поют! И разве можно чувствовать один край душевной гаммы, не испытав всю силу другого? Нельзя почувствовать всю радость воскресенья, не пережив душою весь ужас смерти и не почувствовав жгучую боль сверхчеловеческого страданья.

Ах прости меня, дорогая, что так много душа твоя приняла от

меня страданий. И как я хочу, чтобы все они расцвели в весну, превратились в самую чистую и светлую радость!

Христос воскресе

Крепко, крепко, крепко тебя целую

101. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[2 апреля 1911 г. Ялта. Во Флоренцию.]

2-е апр<еля>

Дорогой мой! Наконец-то сегодня получила твое письмо! Очень соскучилась. Пожалуйста, ангел мой, напиши скорее, когда же ты приедешь! Приезжай скорее, ради Бога! Я очень рада и благодарна тебе за твое письмо “путейцам” и вообще за твое отношение к предисловию как к общему делу. Я очень рада, что ты сократил и исправил это предисловие, и сделал это так, как нужно. Вообще еще и еще повторяю, что умоляю тебя спорить. Чем ярче и сильнее будешь ты ставить и критиковать все вопросы с твоим глубоким, брандовским[193] умом, тем больше ты заставишь всех думать и выяснять, тем лучше и серьезнее пойдет наше дело, “Пути” и Религ<иозно>-филос<офского> общества. Я получила телеграмму, что предисловие, исправленное тобой, уже печатается. Все, что я тебе писала о твоей второй главе, относится не к твоей критике, а к психологии. Буддизмом я вовсе не называла твое развенчание русск<ой> теократии, а твою склонность считать все живое, образное — обманом, призрачностью. Потому что ты не позволяешь любить ни Россию, ни женщину — ничего живого! Вот твоя тенденция! В этой главе ты коснулся религиозн<ого> материализма, такой интимной и задушевной области Соловьева, особенно мне дорогой[194], и всю эту глубокую область, где выразилось чувство Солов<ьева>, — ты отбросил и поставил *крест.* Я останусь при своем убеждении. Вот мы прочтем вместе это, и, может быть, ты поймешь, что я хочу сказать! Ты просто не слышишь того, что я хочу сказать. Ты отлично знаешь, что твоей критикой и опровержением теократии Солов<ьева> я действительно восхищаюсь! Она куда глубже и реальнее всех призрачных построений Солов<ьева>. Весь его диалектический метод в этой области меня отталкивает. Об этом я не спорю и я уверена, что вся эта сторона твоей работы — будет прекрасна, хотя я *хотела бы* верить другому в *этой* жизни, но я *понимаю,* что это невозможно! Действительность слишком мне говорит об этом. Тут твоя трезвость и твой ум на меня очень влияют. Но ведь в этой главе был вопрос не об одних построениях Солов<ьева>. Был вопрос о мечтаньях С<оловьева>, о его любви к России, о его “иудействе”, его душе! Об этом ты ничего не сказал! Сказал, что это все аберрация любовного чувства, что

не к расцвету, красоте и радости любимого надо стремиться, а крест ему давать! Да Бог и так его нам всем дал, и так мы его от Него приняли! Нет, как хочешь, а я скажу и буду повторять, что *не так, не так* и *не так* это все! *Не то, не то* и *не то!* Не понимаешь ты меня, не понимаешь и не слышишь моей души! Хочешь доказать, что ее у меня нет! Пиши скорее, когда приедешь? Целую крепко..

Христос воскресе!

102. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Начало апреля 1911 г. Флоренция. В Ялту.]

Милая Гармося

С большим огорчением прочел то, что ты пишешь об университете, в особенности то, что ты противопоставляешь “мистицизм” Лопатина и Кот-ляревского моему поверхностному рационализму. Хороши мистики! Просто им надо оправдать собственное малодушие (у Лопатина всегдашнее), обвинив Вернадского и комп. в кадетстве. Могу на это сказать только одно. Я *горжусь* этими самыми товарищами, Мануйловым и другими, и, будь я в Москве, сделал бы то же самое, что и они. Не понимать, что разгром университета и всего порядочного теперь *неизбежен,* — значит рассуждать крайне поверхностно. Слава Богу, своим подвигом московские профессора явили огромную нравственную силу, спасли нравственный авторитет в России, без чего университет не воскреснет в будущем. Поступок же Котляревского и Лопатина я считаю просто отсутствием личного достоинства и *вредным*[195]. Вредны всякие компромиссы с хамством; вредно со всем примиряться, все терпеть и поддерживать фикцию университета: если бы все эти господа действовали как мы, то правительство, конечно же, было бы сломлено. Будь я в Москве, я бы поступил еще более резко, чем Вернадский и комп., а Лопатину и Котляревскому сказал бы прямо, что их поведение *недостойно.*

Если было бы нужно действовать “медиумически”, я бы просто постарался вселить в них побольше негодования. Кроме мистицизма Лопатина, вижу в твоем письме и большую славянофильскую начинку, это от Эрна и Булгакова. Брось ты все эти противоположения “рационалистического” Запада и мистической России, право же, лучшие и глубочайшие мистики жили на Западе. Да и ни при чем тут мистицизм, где идет речь о том, как ответить на поругание науки. По Котляревскому и Лопатину терпеть и смиряться! Если уж говорить о рационализме, то, право же, скорее можно назвать этим именем все попытки малодушных людей слабыми рассуждениями оправдать свое

малодушие. Вернадский и комп. те не рассуждали, а действовали по *чувству*. И, так как они люди и благородные, чувство их не обмануло. Погружение Московского университета в хамство было бы хуже его разгона. Думаю, что нравственная сила Вернадского и прочих кадет более пригодится России, чем их дряблость.

В том, что ты пишешь насчет моего “метода смерти” и твоего “метода воскресенья”, достаточно гордости. Одного не понимаю, если мой метод — метод смерти, то чего же от меня ждать и на что надеяться? Вообще я умирать еще не собираюсь и очень жалею о том, что ты хоронишь меня в каждом письме. Да и зачем оно нужно? Похоронила раз, похоронила два, но зачем же двадцать раз? В первый раз это меня рассердило, а теперь становится скучно. Если бы ты в самом деле верила, что я отжил, то давно махнула бы на меня рукой и больше бы меня этим не мучила.

А при этом вдобавок и не знаешь ничего. Верочка протестует и бунтует против моего утверждения креста не меньше, чем ты. *Креста никому не хочется: всякий хочет счастья!* Слушай, моя дорогая, оставь все это: не кори, а лучше поддержи меня. Право, я устал душой: терплю пытку с обеих сторон! Как же ждать от меня чего-нибудь, если на эту муку о вас обеих я буду затрачивать все свои духовные силы! Лучше дай отдохнуть, согрей, скажи слово ласковое, любящее, а не все только кори. Не ветром сдернешь с меня плащ, а солнцем, как в басне. Не знаешь ты, через какой мучительный кризис я прохожу теперь, когда ввиду близости Москвы опять открывается у нее рана со всей невероятной жгучей болью! Как мне нужно хоть немного отдохнуть с тобой, моя дорогая! Ну, до свиданья, целую тебя крепко.

103. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[4 апреля 1911 г. Флоренция. В Ялту.]

Гармосинька моя дорогая

Душа моя, красота, блаженство и радость. Кажется мне, что должна ты получить это письмо в самый день светлого Христова воскресенья[196]. Никаких споров в этот день; и не только споров, но и никаких рассуждений. Одно только хочется тебе крикнуть из глубины души, — Христос воскресе. Тут мы опять примирены и соединены, тут вся правда и радость, которой требуешь *ты,* и тех святых страданий, без коих, как утверждаю я, нет полной, святой и безбрежной радости.

Христос воскресе! Бог даст, скоро скажу тебе это с глазу на глаз, из уст в уста, и не на бумаге, а взаправду крепко, *горячо* тебя поцелую. Все нужно сделать, чтобы нам хорошо, от всей души с тобою повидаться и весь накопившийся неимоверный запас любви

перелить из души в душу.

Вчера окончил одну из самых ответственных моих глав — “Смысл любви”. Молчал до сих пор об этом, потому что все не знал, как выльется. И вылилось! Только уже я теперь робею, как ты примешь мое, так ли? На ту главу, которая тебе не понравилась, она совсем не похожа, потому что в ней — не только отрицание, а *утверждение* моего положительного — защита любви реальной против кастрированной любви “андрогина”; стало быть, тут и разрушение и созидание. Но если смотреть глубже, то и с той старой, не понравившейся тебе, это согласно. Только “миражу” Соловьева, который я разрушаю, я противополагаю то ценное, что я считаю не миражем. Я доказываю, что “андрогинизм” разрушает любовь посредством ложной ее идеализации. Ну да увидишь. Сейчас ищу переписчицу, т. к. бывшая уехала.

Теперь адресуй письма Venise poste restante. Мы там будем на 3й день Пасхи (начало возвращенья). Вернемся мы все, если будем живы, здоровы, — к 1 Мая. По пути я думаю заехать *через Триест в Загреб* (или, что то же, — *Аграм),* хорватский город, недалеко от адриатического побережья. Это — резиденция покойного Штроссмайера, у которого гостил Соловьев[197]. Есть надежда достать кое-какие документы. Буду в Триесте числа около 20го, а в Аграме 21го; не знаю, сколько там придется дней пробыть; потом нагоню моих в Вене и домой……..

Ну, до свиданья, моя милая, бесценная, дорогая и хорошая. Кстати, одну маленькую предосторожность. Твои телеграммы, когда приходят, вызывают немалый переполох с расспросами, что да как и почему, потому что прислуга передает их кому попало. На этот случай, если тебе нужно что-нибудь мне телеграфировать, телеграфируй условным знаком — Avez-vous recu reponse Boulgakoff*. Я пойму, что Булгаков тут ни при чем, а надо искать телеграмму poste restante на имя Tubario.

Ну, до свиданья, моя дорогая, ставлю тебя на кресло, поднимаю над головой, несу на спине, а потом — бешено кружусь и крепко целую.

* Вы получили ответ Булгакова? *(франц.)*

104. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[13 апреля 1911 г. Флоренция. В Москву.]

Гармося, моя радость

Пишу тебе накануне отъезда из Флоренции. В Венеции я пробуду всего 3 дня и, *если* ничего не изменится, в Субботу 16го сяду *один* на корабль, который довезет меня прямо до Константинополя, откуда я переправлюсь в Одессу и т. д.

Не удивляйся этому решению, *если* оно осуществится. Я уже давно мечтал отделиться от своих, чтобы приехать раньше и повидать хорошенько тебя одну. Всякие выходы я для этого придумывал, то ехать в Загреб для малообещающих изысканий о Соловьеве, то в Брюссель, потому что там в Славянской библиотеке есть рукописные вставки в его сочинения[198]. Но для Соловьева все это не важно; а для моей цели — не годилось, потому что всякий раз выходило, что возвращаемся мы все-таки вместе. Наконец, морской путь выходит удачнее, потому что кроме меня *никто* не переносит качки. Впрочем, может быть, еще в последнюю минуту захотят ехать *все,* несмотря на качку: тогда либо я откажусь, либо все планы изменятся.

Надеюсь, что через два-три дня (стало быть, за день, за два до получения этого письма) ты получишь от меня телеграмму: Parti tout seul par mer, espere arriver 28**. Это будет значить вот что.

** Уехал один морем, надеюсь приехать 28 *(франц.)*.

Мне хочется приехать прямо из Одессы (через Киев) к тебе в деревню, *до Москвы*. Чувствую, что иначе в первые минуты мы не увидимся и не наговоримся как следует. Нужно, чтобы *хоть денек* ничто не мешало, никакие посторонние тревоги не нарушали *полноту* общения. Все еще боюсь надеяться. Если мальчики и Верочка захотят поехать со мной, то отказываться брать их с собой без драмы, страшно опасной (у нас *очень*болезненно), невозможно. Но, впрочем, все тебе скажет раньше моего письма моя телеграмма.

Если ты ее получишь, это будет значить, что давно таившаяся моя мечта близится к осуществлению. Еще одно возможное препятствие — ожидаемая ежеминутно кончина Fr. Кц mpfer, которая может заставить Верочку ехать в Висбаден, а меня везти всю семью сухим путем. Я чувствую, что эта мечта — быть у тебя — во мне так засела, что лишиться ее значило бы для меня подвергнуться ампутации.

Слушай же дальше. Мой маршрут: 16го выезд, 17го (Воскресенье) Анкона, Понедельник 18 — Бари, Вторник 19 — Бриндизи, в Среду — Корфу, в Четверг 21 — Патрос и Афины, в Пятницу 22 — Дарданеллы, в Субботу (23) — Константинополь. Там пересадка на другой пароход, и расписанья я не знаю и потому не уверен, буду ли в Одессе в Воскресенье 24 или Понедельник 25го. Если 25го, то в Киеве 26го, откуда могу выехать в тот же день *только* почтовым, который приходит к вам рано утром. Не знаю, останавливается ли он на разъезде № 15. Узнаю об этом в Малоярославце. Если нет, то слезу в Оболенском, а ты вышли за мною туда. Впрочем, об этом, если хочешь, можешь

телеграфировать в Киев *до востребования*. Одно только прошу и даже требую: *ни в каком случае не выезжай сама навстречу*. Встреча при посторонних и потом бесконечная езда при кучере — такое волнение и мука, *что я заболею!* Мне нужно сразу видеть тебя совсем, совсем одну.

Ужасно боюсь задержек от бурь. Во всяком случае, *из Одессы,* если буду жив, телеграфирую. Тем временем завтра пошлю тебе в Москву мой "смысл любви"! *Невероятно* жажду тебя видеть, душа моя и прелесть. Крепко, крепко тебя целую.

В случае перемены все-таки как-нибудь устроюсь, чтобы интенсивно повидать тебя в Москве. Целую очень крепко.

P. S. На случай, если вздумаешь телеграфировать poste restante, справлюсь об этом в Бари, Бриндизи, Афинах и Одессе.

105. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Венеция. Принята в Ялте 14 апреля. Помета: "Адресат выбыл в Москву".]

Pars semedi seul par mer serai Athenes Hotel Angleterre 21, Constantinople 23, Odessa 25, Michaelovskoe 28, demanderai tellegrammes Ancona dimanche Brindisi lundi ecris Athenes Odessa aspire te voir*.

* Уезжаю среду один морем буду Афинах отель Англетер 21, Константинополь 23, Одесса 25, Михайловское 28 буду спрашивать телеграммы Анкона воскресенье Бриндизи понедельник пиши Афины Одессу мечтаю тебя увидеть *(франц.)*.

106. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Телеграмма. Бриндизи. Принята в Москве 19 апреля 1911 г.] Tarda un jour depuis Constantinople attendrai bateau impatience**

** Опоздал на один день начиная с Константинополя ожидаю пароход нетерпением *(франц.)*.

107. М. К. Морозова — Е. Н. Трубецкому

[19 апреля 1911 г. Москва. В Одессу.]

Вторник

Дорогое сокровище, бесценный Женичка! Как ты, здоров ли? Хорошо ли доехал? День и ночь мысли мои, вся душа и сердце с тобой, мой ангел милый!

Глубоко, безгранично благодарю тебя за твой подарок мне! Никогда этого не забуду и постараюсь заслужить всю твою доброту! Сокровище мое! Не могу передать словами того, как я счастлива и что я переживаю сейчас! Все поражаются, какой у меня лучезарный вид, и приписывают Ялте! Ангел мой, как меня умилило, что ты пишешь, чтобы я тебя не ездила встречать! Я

тебе буквально то же написала уже давно в Афины! Да это совершенно невероятно нам встретиться при посторонних. Я пришлю Михайлу на станцию “Разъезд 15й”, т. к. *почтовый* поезд останавливается в 5 1/2 ч. утра. Во всяком случае, я тебе об этом телеграфирую в Одессу же! Приезжай скорее, ради Бога! Может быть, ты успеешь приехать в среду 27го. Ты можешь ехать и с курьерским, если это скорее, а я пришлю лошадей в *Малоярославец* за тобой, того же Михайла. Телеграфируй из Одессы об этом, т. к. я должна тогда раньше быть в деревне, во всяком случае накануне твоего приезда! Ты входи в дом скорее и иди прямо в мой кабинет. Боже мой, как я рада, как счастлива! Боюсь, доживу ли? Иногда кажется, что сердце не вынесет такой радости! Твоя Гармося. Крепко, крепко, крепко, крепко тебя целую!

108. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Начало июня (?) 1911 г. В вагоне поезда. В Михайловское или Москву.]

Милая и дорогая Гармося

Пишу тебе опять из вагона. Не понимаю, по какому недоразумению ты считаешь больною Соню. Больна не она, а Саша. Он было выздоровел совсем, и я ехал, как писал тебе, к Осоргиным[199], откуда намеревался в Москву; но с полпути из Калуги должен был вернуться вследствие известия о появлении у Саши сыпи, к<ото>рая очень меня напугала. К счастью, это — только последствия прививки, а не скарлатина, и я еду сегодня опять к Осоргиным, т. к. теперь у нас дезинфекция и в доме только две комнаты свободны, где и живут Верочка и Саша. Во вторник вернемся все. Приезд же в Москву я отложил числа до 15го, т. к. до полного поправления Саши все еще страшно: уж очень опасна болезнь и с последствиями!

Крепко тебя целую и благодарю за письмо. Ты меня спрашиваешь, верю ли я в наши отношения? Да, верю, потому что твердо надеюсь, что они станут другими. Если бы я был убежден, что они измениться не могут, я сказал бы, что я в них не верю. Я верю вот во что: уж очень сильно чувство в нас обоих — в тебе и во мне! Неужели же оно не найдет в себе силы быть нам обоим во спасенье? Право, тут ведь дело идет прямо о спасении души. Неужели для этого мала какая-нибудь жертва? Я убежден, что ты *все* сделаешь, чтобы снять с моей души тяжелейший камень, который меня давит. Я твердо убежден, что *с этим камнем* на совести ничего ни великого, ни святого, ни творческого не сделаешь. Это *больше,* чем убеждение: я это *ощущаю* всеми силами моей души. Только тогда буду иметь силу всем возвещать

радость воскресенья, когда воскресенье у меня у самого будет в душе, — когда свыше будет прощенье. Вот я и думаю: ведь не сводятся же наши с тобой отношения к одному этому камню; есть же в них что-то светлое, хорошее и святое, что может от этого самого камня и мою и твою душу освободить. Вместе споткнулись, вместе и поднимемся. Я был бы безутешен, если бы наши отношения оборвались *теперь* на точке, на которой они стоят. Тогда у меня осталось бы сознание, что я — источник огромного и несправедливого зла в твоей жизни. А я хочу, чтобы тебе было от меня добро. Зачем ты говоришь, что сейчас нам переменить отношений нельзя? Ведь их можно изменить только *сразу: постепенно* такие перемены не совершаются никогда. Нужно только побольше религиозности и веры — *положить между нами меч,* как сделал Зигфрид с Брунгильдой[200], т. е. просто загипнотизировать себя на мысли, что ничего *не должного не может [быть] и не будет.* Ведь только этим мы можем спасти наши отношения! Я тут не о разлуке говорю, а о большем. Надо спасти в наших отношениях их *светлый смысл* от окончательной утраты! Нужно, чтобы было что-нибудь, что бы оправдывало в них веру. Ведь если они будут продолжаться *без веры,* разве это легче разулки? Что нужно для веры, т. е. для ее поддержания? *Нужен подвиг,* который бы и тебе и мне доказал всю силу и всю святость чувства, всю его способность на жертвы, готовность скорее перенести какие угодно лишения, чем видеть пятно на наших отношениях и допустить хоть какое-нибудь омрачение души.

Милая моя и дорогая, ведь от нас с тобой зависит быть светлыми, радостными и счастливыми все время. Зачем же мы этой светлой и постоянной радостью будем жертвовать для радости *минутной, которая* оставляет по себе такой долгий и такой невыносимо мучительный след в нас самих и разбивает, прямо *разбивает* другие души!

Ах, Маргося, Маргося моя милая, будь ты всегда моя любимая, обожаемая, светлая и радостная. Будь светла и бодра и не на свои силы надейся, а на помощь свыше, которая не обманывает.

Крепко, крепко и нежно тебя целую.

109. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[27 июля 1911 г. Бегичево. В Михайловское.]

Милый мой ангел дорогой

Не писал тебе эти дни, потому что слишком много разного во мне бродило и бродит. Хотелось мне, чтобы утряслось все в душе моей… Сейчас пришло твое письмо, за которое несказанно тебе благодарен. Дорогая и милая, спешу тебе сказать, что верю и

надеюсь на окончательную победу; верю, что силы найдутся в самой нашей любви друг к другу. Ты у меня в этот приезд часто просила прощения; как-то странно звучали эти слова у меня в ушах, так как *винил я* одного себя, потому что знаю, что все в конце концов от меня зависит, и уверен, что во всем хорошем ты мне поможешь. Не совладел я на *этот* раз с волной восторга, которая меня унесла. Не совладел с чудным вечером, с одуряющим запахом сена, с невероятной красотою природы, а всего больше — с твоим очарованием! Ну что же, отчаиваться нечего, будем бодры и тверды, не будем падать духом и предаваться "ужасу", а лучше будем бороться против него. И Бог даст сил. На этот раз тяжелым был только самый день возвращения, — молчание и чувство накопившейся тяжести. Но ведь все-таки тем не менее и со стороны видно, что мы оба боремся, ты и я, и все-таки не отдаемся увлекающему нас потоку, как бы он ни был соблазнителен. И это в конце концов облегчает душу! Ах, дай Бог окончательно освободить и твою и мою душу от тяжести. Верю и надеюсь, что это будет.

По возвращении на другой же день бодро принялся за работу и двигаю ее вперед. Много положил на бумагу из того, что было переговорено, пережито и перечувствовано *с тобой,* моя милая. Это всякий раз в моей работе большая, *очень большая* для меня радость и утешение, потому что я нежно и крепко, крепко тебя люблю.

Здоровье мое по всем статьям хорошо. Переписное заведение — Мироновой (угол Воздвиженки, возле церкви Бориса и Глеба).

Радость моя, милая, хорошая и ласковая, не унывай, будь бодра.

Крепко и нежно тебя целую.

110. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[13 августа 1911 г. Бегичево. В Москву.]

Милая, дорогая и бесценная Гармося, красота моя и радость.

Вот я здоров теперь и бодр. Работа идет, актовая речь наклевывается, и солнце вливает бодрость в душу. Часто за это время нападало уныние и тоска — двоякая тоска: одна по тебе, моя милая и родная. То подступает какая-то волна, целая буря, которая поднимает меня и несет, как щепку:

это — чувство к тебе. То снова мучительно чувствую всю невозможность осуществления этого чувства, всю необходимость сдержать его ради Бога, и тогда нападает тоска по тебе и тоска обо мне самом, мучит сознание греха. Мучит сделанное *ей* зло, *выражение подстреленной птицы,* которое так всегда гнетет душу. Ничего нового и острого тут нет и ничего нового не произошло: в

общем у нас лучше. Все это — старое, постоянное, хроническое, но и мучительное.

Освобождается от этой тоски и бури моя душа, когда чувствует подъем в работе, когда наклевываются мысли и образы, а еще больше, когда получается какое-нибудь хорошее письмо от тебя, такое, которое заставляет подняться на победу всего хорошего, светлого между нами. Родная моя, как неудержимо, крепко и сильно я тебя люблю!

Уже назначен день моих занятий в универс<итете> Шанявского — *по Пятницам*[201]. Это великолепно по близости к Четвергам и Субботам. Возражения твои основаны на недоразумении. Раз Соловьев видел в половой любви путь *выше ангельского* и *универсальный путь спасения,* он, очевидно, ее переоценил. Но ведь я же и говорю, что возвести относительное в абсолютное значит — растворить его в абсолютном и разрушить; именно переоценка и разрушительна в данном случае: именно потому, что любовь для С<оловьева> — “выше ангельского пути”, он принужден был отбросить от нее все естественное: оттого и ложный “стыд”. В сущности, во всей этой теории говорит неудовлетворенное *земное желанье,* которое Соловьев бессознательно разжигал, принимал его за небесное откровение. Как же не сказать, что истину здесь заменяет *земная* величина?

Очень рад, что ты стала “коллегой” по земской деятельности. Думаю, что опрос земских деятелей — верный путь, чтобы сделать очень много. Что касается колонии, то я не сторонник преувеличенного практицизма. Пусть это будет место летнего отдыха; но если там есть труд, то труд обязательно должен быть целесообразен, т. к. бесцельный и фантастический труд не может заинтересовать и служить воспитательным средством. Поэтому, напр<имер>, огород *обязательно*должен быть поставлен так, чтобы давать колонии настоящие овощи[202].

Милая моя, дорогая, радужная, целую тебя бесконечно крепко.

111. Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[27 сентября 1911 г. Бегичево. В Москву.]

Милая моя, дорогая и бесценная Гармося

Получил твое милое, радостное письмо, и все у меня вертятся в голове стихи:

Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничем[203].

Ах моя дорогая, как хочется ничего тебе не говорить, ничем тебя не тревожить, чтобы хоть ты радовалась. Но ты все равно и без слов и сама знаешь, что я страдаю, что я грустен. Прости

меня, что я грустен, душа моя, прости, что мне больно, но иначе не может быть, потому что слишком горячо мое чувство к тебе и слишком огромно и свято все то, с чем сталкивается это самое сильное мое искушение. Боже мой, что борется в моей груди, что в ней подымается, точно грудь порой хочет лопнуть. Родная моя, найди в глубине твоего милого и любящего сердца силу мне помочь. Родная моя, хорошая и милая, в этом никто, никто мне не может помочь кроме тебя! Это из людей. А чтобы ты мне помогла, для этого тебе самой Бог должен помочь. Пусть Он дает силу и тебе и мне. Знаешь, какое мое самое большое желание на свете? Чтобы ты полюбила Бога горячо, страстно, всем порывом и пылом твоего глубокого и сильного сердца, так, чтобы не заслонял я эту любовь, и чтобы, напротив, это чувство взяло в тебе верх над чувством ко мне, и чтобы ты была им счастлива. Почему я этого так страстно хочу? Потому что обожаю, люблю тебя безгранично и потому что не вижу другого спасенья и просветленья для нас обоих.

Ах душа моя, дорогая моя, чувствуешь ли ты, сколько горячности, сколько огня в этом письме! А если чувствуешь, то не предавайся унынию и отчаянию. Люблю тебя крепко, крепко, безгранично и крепко целую.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Переписка Е. Н. и М. К. продолжалась и в последующие годы. И, может быть, придет время представить ее читателю в полном объеме. Настоящую публикацию мы решили завершить последним из писем, отправленных Е. Н. к М. К. перед его отъездом из Москвы в армию Деникина. (Обстоятельства тайного отъезда Е. Н. подробно изложены в книге С. Е. Трубецкого “Минувшее”.) Этим письмом и последовавшим за ним последним свиданием завершается история их любви: Е. Н. умер от тифа в Новороссийске в 1920 году, во время эвакуации Белой армии; М. К. незаметно скончалась в Москве в 1958 году.

Е. Н. Трубецкой — М. К. Морозовой

[Август 1918 г. Москва. В Михайловское.]

Дорогой друг

Теперь вынужденное решение принято, и я — накануне отъезда; изыскиваются для него только способы, но самое решение уже принято. — Я взял отпуск у патриарха и больше ни на соборе, ни в церковном совете не буду.

Когда я уеду, не знаю. Это может случиться в зависимости от того, когда представится случай, — через два, три дня, через неделю или две, не знаю, но, во всяком случае, как только можно будет, ибо, повторяю, обстоятельства вынуждают. Увидимся ли мы с Вами, дорогой, бесценный друг, перед отъездом, увидимся ли вообще и когда, вот вопрос, который я с ужасом себе ставлю: времена такие, что не знаешь, будешь ли еще жив завтра. Ломаю себе голову, как сделать, чтобы увидеться. — Это трудно. Приехать в Михайловское я не могу, т. к. должен быть настолько близко, чтобы мой Сережа, хлопочущий о моем отъезде, мог ежеминутно меня найти, переговорить о необходимом и чтобы можно было в любую секунду собраться — выехать. Завтра, Вторник, я еще буду в Москве (хотя домой не захожу, и писать туда мне бесполезно). Но послезавтра в Среду думаю быть в И……ве* и остаться там впредь до окончательного отъезда. Но этим не исключается возможность приехать в Москву без ночевки — повидать Вас. Поэтому мы условимся так.

Раз Вы мне писали, что будете 1 Сентября, то, буде я к этому времени еще буду близко (в И.), я приеду нарочно для Вас утром и около десяти часов буду у Вас (увижу сегодня Дуню и, если она мне укажет какой-нибудь другой срок Вашего приезда, сделаю изменение в Post scriptum). Есть еще и другой способ Вам видеть меня, когда приедете. Почту и телеграф надо исключить, т. к. эти

способы там не действуют и письма доставляются с оказиями, неаккуратно из Москвы. Можно только послать ко мне кого-либо — Василия или мужичка из Михайловского. Имение И…. находится или в 20 мин. ходьбы от платформы 17я верста (Переделкино тож или Лукино) по Киево-Воронежской, или в 40 мин. ходьбы от полустанка 20я верста Брестской дороги. Буду тотчас, как только укажете.

Посылаю Вам книгу, которая соединена с бесконечно дорогою памятью о Вас — друге и поверенном всех моих любимых и сокровенных дум. — Больше чем где-либо я в ней вылился, и поэтому больше других она и Вам должна меня напоминать[204]. Хотелось бы сказать до свидания, но на всякий случай — прощайте, дорогой друг и бесценный. Да сохранит Вас Бог и да поможет в бесконечно трудных предстоящих испытаниях. Да соблюдет он Вас, Мику, Марусю и да пошлет он Вам свое благословение и благодатную помощь. — Ах дорогой друг, как тяжел этот скачок в неизвестность, как тяжело это в лучшем случае долгое расставание с Вами. Да будет над Вами ангел Божий. А я крепко, крепко, с бесконечной любовью мысленно прижимаю Вас к сердцу.

Видел Дуню и, получив подтверждение, что Вы будете 1го, запечатываю письмо.

* Название места тщательно зачеркнуто.

notes

Примечания

1

Адрес на конверте Франция: Cap Martin (pres Menton). Hotel du Cap. Курорт, где отдыхала М. К, находится на Лазурном береге, близ Ниццы.

2

Пасха в 1909 г. приходилась на 29 марта.

3

Образ медведя, к которому Е. Н. прибегает для автохарактеристики, совпадает с впечатлением, которое он производил на посторонних. Ср. в воспоминаниях А. Белого: “Войдешь к Морозовой: в креслах сидит — грузноватый, высокий Е. Н., молчаливо прислушивается к пестроте разговоров, и вдруг рывом косолапой руки и интонацией, не соответствующей содержанию слов, принимается тяжелить разговор; и все, что ни есть, уплотняется; с осторожностью, с тактом, силясь противников не задеть, он пробивает себе дорогу; представьте медведя, ходящего по канату; кто стал бы смеяться над движением его лап, видя, что “мишка” не грохнулся с первого шага с каната…” (Белый А. Между двух революций. М. 1990, стр. 269).

4

Находясь в Ялте, Е. Н. готовил речь о Гоголе для предстоявших в апреле торжеств по случаю столетия со дня рождения писателя (см. прим. 11).

5

Неточная цитата из письма М. А. Максимовичу. Вряд ли М. К. имела в своем распоряжении издание писем Гоголя: скорее всего цитата заимствована ею из книги Д. С. Мережковского “Гоголь и черт”, где она выделена автором (М. 1906, стр. 86; см. также прим. 7, 8).

6

Сын М. К. Морозов Михаил Михайлович (1897–1952), прославленный знаменитым “Портретом Мики Морозова” В. А. Серова (1902; Государственная Третьяковская галерея); впоследствии известный театровед, специалист по творчеству Шекспира.

7

Творческую трагедию Гоголя Д. С. Мережковский полагал в неравновесности в его натуре двух начал — языческого и христианского (см. прим. 5).

Сквозной мотив многих частных писем Гоголя, опять-таки особо выделенный Д. С. Мережковским (“Гоголь и черт”, стр. 162–163, 165–166).

[9] М. К. соединяет собственное резюме последних страниц статьи Гоголя “В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность” с неточной цитатой оттуда же.

10

Неточная цитата из указанной статьи Гоголя.

11

Речь Е. Н. “Гоголь и Россия” была произнесена в торжественном заседании Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности в актовом зале университета 26 апреля 1909 г., состоявшемся сразу же после открытия памятника Гоголю на Пречистенском бульваре (см.: “Гоголевские дни в Москве”. М. [1910], стр. 64–65; собственно текст речи — стр. 115–127; ранее была опубликована в МЕ, 1909, № 16, стр. 2—18). М. К. принимала участие в празднествах “в числе оказавших гостеприимство иностранным гостям” (“Гоголевские дни…”, стр. 49): в ее доме остановился Э. М. де Вогюэ.

12

Реминисценция из стихотворения Н. А. Некрасова “Я не люблю иронии твоей…”. Университетская профессура помимо Е. Н. была представлена С. А. Муромцевым, М. И. Сперанским, И. И. Ивановым, Ф. И. Коршем.

13

Д. С. Мережковский не смог принять приглашения Общества “по случайным причинам” (“Гоголевские дни в Москве”, стр. 13).

14

Данное письмо в просмотренных нами единицах хранения не обнаружено; очевидно, было уничтожено Е. Н. из-за содержания.

15

Адрес на конверте: Германия. Schwarzwald. St-Blasien. Villa Bristol.

16

Авторство стихов неизвестно.

17

То есть в редакции МЕ — Пречистенский бульвар, дом Кальмер. В коллекции М. А. Морозова насчитывалось 60 икон (см.: Д у м о в а Наталья. Московские меценаты, стр. 92).

18

Дочь М. К. Мария Михайловна (род. 1905/?/), в замужестве Фидлер.

19

Сестра М. К. Елена Кирилловна, в замужестве Вострякова. На протяжении всей долгой жизни сестры поддерживали доверительные, дружеские отношения.

20

См. прим. 25.

21

Строки из стихотворения “Посвящение к неизданной комедии” (курсив Е. Н.). Сборник стихотворений В. С. Соловьева (М. 1901) М. К. подарила Е. Н. перед его отъездом в Ялту (письмо к М. К., 6, 3а, л. 42).

22

Из письма Н. Н. Страхову (см.: “Письма Владимира Сергеевича Соловьева”, т. 1. СПб. 1908; курсив Е. Н.), Летом 1909 г. в Бегичеве Е. Н. приступил к своим “занятиям Соловьевым”, которые продолжались несколько лет и завершились выходом книги “Миросозерцание В. С. Соловьева” (М. 1913). Вероятно, толчком к началу этой работы послужило планировавшееся участие Е. Н. в сборнике о национализме, который предполагалось выпустить вслед за “Вехами”. В мае этого года А. А. Стахович писал П. Б. Струве о “сборнике большом, серьезном, издать который предельно не позже Сентября <…> Изъявили согласие принять в нем участие и за лето написать большие статьи С. Н. Булгаков, Кистяковский, Е. Н. Трубецкой и П. И. Новгородцев” (цит. по: Колеров М. А., “Архивная история сборника «Вехи»”. — “Вестник Московского университета. Серия 8. История”, 1991, № 4, стр. 16; там же подробно о неосуществленном замысле).

23

Имеется в виду работа В. С. Соловьева “Великий спор и христианская политика” (1883).

Ср. у Соловьева: “По духовному своему существу польская нация и с нею все католические славяне примыкают к западному миру. Дух сильнее крови; несмотря на кровную антипатию к немцам и кровную близость к русским, представители полонизма скорее согласятся на онемечение, чем на слияние с Россией” (Соловьев В. С. Сочинения в 2-х тт. М. “Правда”. 1989, т. 1, стр. 71).

25. М. К. читала книгу М. О. Гершензона “П. Я. Чаадаев. Жизнь и творчество ” (СПб. 1908; в этом письме и далее цитаты даны по этому изданию). Мы видим, что репертуар будущего издательства “Путь” складывался уже летом 1909 г. (в 1913–1914 гг. издательство М. К. выпустило “Сочинения и письма” П. Я. Чаадаева в двух томах, подготовленные тем же М. О. Гершензоном; см. также прим. 28).

26

Персонаж романа Ф. Сологуба “Мелкий бес”. Эта книга была подарена М. К. В. А. Трубецкой весной 1907 (?) г.; приводим краткое сопроводительное письмо, освещающее сложные отношения между ними:

“Милая Маргарита Кирилловна

Посылаю Вам Евангелие от Св. Иоанна и “Мелкий бес” и с этими двумя противуположностями посылаю Вам еще крепкий сердечный поцелуй.

Много мы обе за эту зиму перечувствовали и переживали, могли друг от друга оттолкнуться и друг друга чуждаться, но мы лично ближе узнали друг друга, и то чувство, которое могло бы нас разъединить, нас сблизило, мы соединились на *хорошем, высоком и чистом* чувстве, и я верю, что наше с Вами сближение глубоко.

От души обнимаю Вас. Дай Вам Бог хорошо провести это лето и дай Вам Бог душевного мира.

Любящая Вас Вера Трубецкая” (2, 35, л. 1–2).

27

В ответ на открытку с видом на “дорогу философов” со следующим пояснением: “Вот эта дорога идет над нашей виллой, и мы каждое утро гуляем по ней” (3,2, л.58). “Дорогой философов” в Германии называют дорогу, с которой открывается красивый вид, как бы располагающий к размышлениям.

28

То есть “Историю и будущность теократии” и “Россию и Вселенскую церковь” — основные работы, в которых Соловьев изложил свои теократические идеи. Последняя в русском переводе Г. А. Рачинского будет выпущена книгоиздательством “Путь” в 1911 г. (см. прим. 143).

29

Здесь впервые сформулирован основной пункт, на котором выстроится концепция соловьевского творчества, развернутая в работе “Миросозерцание В. С. Соловьева”.

30

В письме от 6 июня Е. Н., в частности, писал: “Очень втягиваюсь в Соловьева и очень много в нем замечаю для меня нового, почему и надеюсь, что из этой работы что-нибудь путное выйдет. Кстати, очень важно для ознакомления с ним прочесть “еврейский вопрос” в т. IV” (6, 3а, л. 3О). Е. Н. и М. К. читали Соловьева по собранию сочинений в восьми тт. Точное название работы — “Еврейство и христианский вопрос” (1884).

31

Соловьев приводит заключительную пасхальную молитву о пришествии мессии (см.: С о л о в ь е в В. С. Сочинения в 2-х тт., т. 1, стр. 217–218).

32

М. К. цитирует несколько неточно; ср.: там же, стр. 219.

Ср. там же, стр. 220; курсив М. К.

Такая идея была сформулирована Е. Н. в работе “Социальная утопия Платона” (ВФП, 1908, № 91, 92; отд. изд. — М. 1908).

35

Имеется в виду следующее место: “Окончательная цель для христиан и для иудеев одна и та же — вселенская теократия, осуществление божественного закона в мире человеческом, воплощение небесного в земном. Этот союз неба и земли, этот новый завет Бога с творением, этот совершенный круг и венец всемирного дела одинаково признается и христианством и иудейством. Но в христианстве нам открылся сверх того и *путь* к этому венцу, и этот путь есть *крест.* Вот этого-то крестного пути и не сумело понять тогдашнее иудейство” (С о л о в ь е в В. С. Сочинения в 2-х тт., т. 1, стр. 226–227).

36

Ср. у Соловьева: “Наступит день, и исцеленная от долгого безумия Польша станет живым мостом между святыней Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику. <…> Тогда прославится вера Христова, тогда обратится народ Израилев. Обратится потому, что въявь увидит и познает царство Мессии в силе и деле” (Там же, стр. 253).

37

“С нарастанием жизненного опыта без всякой перемены в существе своих убеждений, я все более и более сомневался в полезности и исполнимости тех внешних замыслов, которым были отданы мои так называемые лучшие годы»” (“Творения Платона”. М. 1899. т. 1, стр. VI).

Михайловское, Малоярославецкого уезда, Калужской губернии (ныне в границах Московской области), близ Боровска.

39

Упомянутые письма напечатаны в книге М. О. Гершензона (см. прим. 25).

Трубецкой Е. Н., “□Вехи» и их критики” (МЕ, 1909, № 23). В веховских кругах статья была оценена как “дружественная” (см. письмо А. С. Изгоева М. О, Гершензону от 29 июня 1909 г. — “Минувшее”. Вып. 11. М. — СПб. 1992, стр. 275).

41

Ф е о ф а н (Говоров Георгий Васильевич, 1815–1894) — епископ Владимирский и Суздальский. В 1866 г. удалился в Вышинскую пустынь (отсюда его именование Феофан Затворник). Его религиозные сочинения пользовались широкой популярностью: упоминаемые “Письма о христианской жизни” выходили в 1891, 1899 и 1908 гг. М. К., очевидно, читала последнее издание.

42

См. ME, 1909, № 27.

43

Т ь е р р и Амэде (1797–1873) — французский историк; Е. Н. рекомендует его культурно-исторические очерки.

44

Открытка с видом Rhenfall, послана “по дороге на автомобиле из St-Blasien в Constanz” (3, 2, л. 26).

45

См. прим. 36.

Один из примеров житейской непрактичности Соловьева Е. Н. привел во вступительном очерке “Личность В. С. Соловьева”; так, Соловьев был очень удивлен, что на земское собрание допускаются посторонние: “Как он мне сказал, он думал, что “земство — что-то в роде канцелярии”. В особенности в области экономической он поражал примитивностью своих суждений” (“Миросозерцание В. С. Соловьева”, т. 1, стр. 7).

47

23 июня Е. Н. известил М. К. телеграммой из Калуги: “Arrivons Berlin 2 juin ecrivez Continental” [“Приезжаем Берлин 2 Июня пишите Continental”] (6, 36, л. 54).

48

В имении Поповка, в двадцати пяти верстах от Твери, на даче, принадлежавшей фабрике Морозовых. “Это была лесная дача <… > Дом был простой, бревенчатый, внутри обитый тесом. В доме было всего комнат шесть <…> Окружали дом бесконечные леса, которые тянулись на много десятков верст”. В год свадьбы с М. А. Морозовым молодожены приехали сюда по Волге на собственном пароходе “Новинка” (Морозова М. К., “Мои воспоминания”, стр. 96).

В “Истории и будущности теократии” (см.: Соловьев В. С. Собрание сочинений в 8-ми тт. Т. 4, стр. 420).

50. М. К. шутливо намекает на немецкого философа Германа Когена (1842–1918), бывшего главой марбургской школы неокантианства. Полемика с ним и с его последователями в России (см. прим. 106) постоянно занимала как Е. Н. (см. его работы: “Панметодизм в этике (К характеристике учения Когена)” (ВФП, 1909, № 97), под впечатлением которой, очевидно, и находилась М. К.; “Метафизические предположения познания”. — М. “Путь”. 1917), так и других философов, близких будущему “Пути”. Так, летом 1908 г. близкий друг М. К. и Е. Н. Л. М. Лопатин (см. прим. 60) писал о своих беседах с В. М. Хвостовым: “Когда речь заходит о Когене, в мирном единомыслии стараемся общими силами прорвать злокозненную паутину его диалектики…” (письмо к М К, 1, 39, л. 2). Здесь уже было заложено будущее идейное противостояние “Пути” и “Логоса”.

51

Философское сочинение Соловьева, написанное в 1877–1880 гг. и представленное в качестве докторской диссертации (1880). Познание, основанное на мистическом восприятии, — исходная посылка гносеологии Соловьева.

52

Курорт находится неподалеку от немецкого города Фрайбург, близ границы со Швейцарией и Францией.

53

Открытка, посланная В. А. Трубецкой из Кёльна 5 июня; тревога М. К. продиктована следующим пассажем: “Женя Вам написал, что не хочет меня оставлять одну в Neuenahr, но это соображение вздорное” (2, 35, л. 16).

54. Гостиница, в которой, очевидно; для М. К. был заказан номер.

55

Условное имя, на которое М. К. отправляла корреспонденцию до востребования для Е. Н.

56

В месяцеслове Православной Церкви нет святой с именем Маргарита; именины празднуются на Марину (17 июля ст. ст.). В. А. Трубецкая также поздравила М. К. “с именинами, не признанными православной церковью” (письмо от 15–16 (28–29) июля. — 2,35. л. 8).

57

Об этом М. К написала В. А. Трубецкая в письме, упомянутом в предыдущем примечании.

Перед возвращением в Россию Е. Н. посетил Байрейт, где прослушал тетралогию Вагнера “Кольцо Нибелунгов” (см. последующие письма).

59. К о т л я р е в с к и й Сергей Андреевич (1873–1939) — историк, приват-доцент, профессор Московского университета, один из постоянных и активных сотрудников МЕ. М. К. имеет в виду следующую фразу из его письма от 3 июля 1909 г.: “Очень хорошая была статья Евг<ения> Ник<олаевича> о “Вехах” — как нельзя более в ней отразились сильные стороны его духовной природы” (I, 3, л. 3). О статье Е. Н. см. прим. 40.

60. Л о п а т и н Лев Михайлович (1855–1920) — философ, профессор Московского университета, друг детских лет В. С. Соловьева, один из основателей журнала ВФП. Е. Н. и М. К. питали к нему теплые, дружеские чувства и вспоминали о нем с исключительной сердечностью (см.: Т р у б е ц к о й Е.Н. Воспоминания. София. 1921, стр. 179–191; Морозова М. К., “Мои воспоминания”, стр. 103–104). В то же время особой идейной близости между ним и МЕ (а впоследствии и “Путем”) все-таки не было. М. К. упоминает о письме от 12 июня 1909 г., в котором Лопатин сообщал о совместном отдыхе с Вениамином Михайловичем Хвостовым (1868–1920), юристом, профессором Московского университета: “Мы с ним много беседуем, иногда и спорим, но без озлобления и ярости. И он, и Надежда Павловна [жена В. М. — *А. Н.*] очень Вам кланяются, и вообще мы часто говорим о вас” (1, 39, л. 8).

61

В фондах департамента полиции (ГАРФ) сведений о перлюстрации переписки Е. Н. не обнаружено.

62. Статья Е. Н. “Крушение теократии в творениях В. С. Соловьева” (в которой развиваются идеи, сформулированные в вышеприведенных письмах) появилась только через два с половиной года (“Русская мысль”, 1912, № 1).

63. В. А. Трубецкая отправила М. К. видовую открытку — в память о совместных прогулках в Altenahr (2, 35, л. 10).

64

Курорт на атлантическом побережье Франции, близ границы с Испанией.

65

Тетралогия Р. Вагнера “Кольцо Нибелунгов” (“Золото Рейна”, “Валькирия”, “Зигфрид”, “Гибель богов”) игралась на сцене специально построенного для этого театра, летом, по нескольку циклов (традиция сохранилась по сей день). М. К. слушала “Кольцо…” в Байрейте вместе с мужем в начале 900-х гг. Ср. в ее воспоминаниях: “Оперы Вагнера исполнялись в Байрейте через год летом, причем билет брался на цикл из пяти спектаклей <…> Стоил каждый билет очень больших денег — пятьсот долларов, или тысячу рублей на наши деньги <…> Самый театр, или Фестшпиль-гауз, находился на небольшом расстоянии от Байрейта, к нему вела длинная, обсаженная деревьями аллея. Театр был весь деревянный снаружи и внутри, очень большой, высокий, по обеим сторонам у него было много дверей <…> Стены и плафон театра были покрыты деревом, без всяких украшений или отделки материей. Это отсутствие отделки зала создавало удивительную, неслыханную акустику. Звук оркестра был <…> “идеальным”, чисто духовным, беэ всякой примеси материального, т. е. звук несся так легко и казался таким прозрачным, что нельзя было себе представить, что смычок ходит по струнам или что человек играет на инструменте” (Морозова М. К., “Мои воспоминания”, стр. 101).

66. Три речи в память Достоевского” В. С. Соловьева.

С А. Н. Скрябиным М. К. была в дружеских отношениях: брала у него уроки музыки, затем на протяжении нескольких лет поддерживала его материально.

68

В Байрейте на представлении “Кольца…” собиралась “избранная и элегантная публика”. Вот как вспоминала М. К. о своем пребывании там: “В Байрейте нет отеля, так что надо было жить в частной квартире. Байрейт — маленький провинциальный городок, с чистенькими, беленькими домиками. В одном из таких домиков мы сняли две комнатки <…> Комнатки были маленькие, с беленькими шторками на окнах, с широкими кроватями, покрытыми перинами. Хозяйка помещения бралась нас кормить”. Узкий круг, в который входила и М. К., приглашался на раут у “м-м Козимы Вагнер на ее вилле Ванфрид <…> Дамы были одеты очень элегантно, многие были в бриллиантовых диадемах и парюрах, декольте. Мужчины в парадной военной форме <…> Здесь были немецкие короли и королевы, несколько принцев и принцесс: были принцы английские, японские, русские великие князья” (Морозова М. К., “Мои воспоминания”, стр. 101–102). Е. Н. в Байрейте снимал комнаты в доме бургомистра (Karistrasse, 1 — см. обратный адрес на открытке, 6, 36, л. 36).

69

См. прим. 50.

Ср. в воспоминаниях М. К.: “Постановка этих опер напомнила мне постановки наших опер в Большом театре до переворота, произведенного привлечением к ним талантливых художников Коровина и Головина. Постановка была абсолютно нехудожественна, поражала бедностью фантазии” (Морозова М. К., “Мои воспоминания”, стр. 102).

71

См. письмо 12 и прим. 32, 33.

“Фрейшютц” (“Вольный стрелок”) — опера Вебера.

73

Э л л и с (Кобылинский Лев Львович; 1879–1947) — поэт, переводчик, критик, друг А. Белого, в те годы бывшего поклонником М. К. Е. Н. ревниво относился к “декадентским” дружбам М. К. — отсюда и выражение “Ваш Эллис”. История шумного скандала вокруг эпизода в Румянцевском музее подробно описана А. Белым (см.: Б е л ы й А. Между двух революций. М. 1990, стр. 328–335; подробный комментарий А. В. Лаврова — стр. 535–538).

Е. Н. состоял гласным калужского губернского земского собрания; в 1915 г. он в свою очередь был избран членом Государственного совета от земства.

75

То есть работа С. Н. Трубецкого “Основание идеализма” (ВФП, 1896, № 31–35).

С. А. Котляревскому (см. прим. 59).

Как политический публицист Е. Н. стал известен с ноября 1904 г., после статьи “Война и бюрократия” (“Право”, № 39; статья “произвела настоящий фурор; везде можно было услышать фразы и выражения, из нее взятые, а некоторые стали крылатыми” (Г е с с е н И. В. В двух веках. Берлин. 1937, стр. 181); с этого времени Е. Н. регулярно выступал со статьями на политические темы в МЕ, газетах “Русские ведомости”, “Речь” и др. Желаемый М. К. сборник издан не был.

78

П о л и в а н о в Михаил Павлович — юрист и философ, последователь Г. Когена (см. прим. 50), студент С. Н. Трубецкого (см. его воспоминания “Памяти кн. С. Н. Трубецкого”. — ВФП, 1906, № 31). Статья М. П. Поливанова об Ибсене печаталась в МЕ (1909, № 25–30, 34). Как видим, окончание задержалось печатанием из-за замечаний Е. Н.

Ср. у В. С. Соловьева: “Смерть и время царят на земле/Ты владыками их не зови…” (стихотворение “Бедный друг, истомил тебя путь”),

80

Вольное изложение пассажа из передовой статьи газеты “Русь” (1882); см.: А к с а к о в И. С. Сочинения. М. 1886, стр. 503.

81

См. прим. 19.

82

В заседании Психологического общества 19 декабря 1909 г. П. Д. Боборыкин выступил с рефератом “Антропоцентризм и космическое миропонимание”, который “вызвал оживленные прения, в которых приняли участие, кроме референта, кн. Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, В. М. Хвостов и Л. М. Лопатин” (ВФП, 1910, № 101(1), стр. 112).

83

В 1910 г. Пасха приходилась на 18 апреля.

84

Тропарь, поющийся вместо Херувимской на литургии Преждеосвященных даров (на Страстной неделе служится с понедельника по среду).

85

Неточная цитата из пасхальной стихиры.

Очевидно, речь идет о будущем книгоиздательстве “Путь” и книгах С. Н. Булгакова “Два града” и В. С. Соловьева “Русская идея” или “Россия и Вселенская церковь” (см. прим. 143.).

Письма М. К., посланные до востребования в этот период, рассеяны по единицам хранения, помеченным более поздними годами. Их выявление — задача будущего.

88

Очевидно, о. Сергей Щукин (1873–1931); позднее он войдет в круг сотрудников издательства “Путь”, где выпустит книгу “Около церкви” (1913). Подробный рассказ о нем см.: Игуменья Евдокия, “Воспоминания об о. Сергии Щукине” (“Вестник РХД”, 1977, № 122).

89

Намек на готовящуюся поездку М. К. в Neuenahr.

90

Последний номер ME вышел 17 августа (подробнее о закрытии журнала см. прим. 92).

Г. Н. Трубецкой — брат Е. Н., ведущий сотрудник МЕ; С. А. Котляревский и П. Б. Струве.

Представленные письма с очевидностью свидетельствуют, что причина прекращения МЕ лежала в сфере личных взаимоотношений редактора и издателя. Процитируем в связи с этим еще несколько фрагментов писем М. К.: “Надеюсь, что В. А. успокоило хотя бы известие о прекращении Еженедельн<ика>: надеюсь, что она поймет и поверит, что не на словах только, а на деле есть желание все сделать к лучшему”; “Надеюсь, что В. А. успокоило известие о Еженедельн<ике>, что же ты мне об этом не сообщаешь, это, право, безобразие. Надеюсь, она видит и верит, что по-прежнему продолжаться не будет <…> Важно устроить жизнь так, чтобы ежедневно ты мог спокойно работать, а В. А. не волновалась бы тем, что ты сейчас где-то со мной. Я уверена, что в этом отношении закрытие Еженед<ельника> — огромная вещь. Это одно внесет большую перемену и успокоенье, а затем и редкие свидания, я надеюсь, довершат все это. Нужно, чтобы В. А. убедилась, что ты проводишь с ней больше времени, чем со мной” (3, 5, лл. 159, 161, 162). Между тем версия о “финансовых затруднениях”, выдвинутая М. К. и вряд ли принятая на веру близкими к МЕ литераторами (размер капитала М. К. не был для них секретом), не вызывает сомнений у ряда современных историков. Так, в монографии Н. А. Балашовой “Российский либерализм начала XX в. (Банкротство идей “Московского еженедельника”)” (М. 1981), единственной на сегодняшний день посвященной журналу Е. Н. и М. К. и выполненной на внушительном архивном материале, “финансовая несостоятельность” МЕ представляется как следствие банкротства либеральных идей в условиях “острой классовой борьбы в стране” (стр.39).

93

Кц n i g swinter — город в Германии между Neuenahr и Бонном, где, очевидно, состоялось свиданье Е. Н. и М. К.

См.: Б е р г с о н А н р и. Творческая эволюция. М. 1909. М. К. вольно цитирует введение;

у Бергсона: “…теория познания нераздельна от теории жизни” (стр. 6).

Сусанна Михайловна Архипова выполняла функции секретаря в издательских предприятиях М. К.

Члены редакционного ядра МЕ, полагая “финансовые затруднения” М. К. подлинной причиной закрытия МЕ, попытались спасти положение. 12 августа С. А. Котляревский писал М. К.: “Я получил письмо от кн. Григория Николаевича, которое меня заставляет Вам писать. Г. Н. пишет, что он чувствует известный укор совести за слишком как бы пассивное отношение к прекращению М. Е. Прочтя его письмо, я, должен сказать, тоже ощутил в себе подобное сознание. Исчерпали ли мы все возможности для поддержки М. Е.? Г. Н. говорил, что все-таки следовало бы обратиться с циркулярным письмом к лицам, близко стоявшим к М. Е. <…> Я после письма Г. Н. написал Четверикову, а его прошу написать Коновалову. Весьма вероятно, что из этого ничего не выйдет, но по крайней мере не будет чувства неопределенности и пассивности” (1, 33, л. 5). М. К., по-видимому, встревожилась активностью друзей; о ее действиях дает представление следующее письмо С. А. Котляревского от 24 августа: “Что касается Москов. Еженедельника, то после Вашего письма, а также письма Евгения Николаевича, которое мне переслал Григорий Николаевич, я совершенно сочувствую его прекращению именно теперь. <…> Мне кажется, что и Евгений Николаевич совершенно прав в своем инстинкте, который ему подсказывает, что он должен те же самые вопросы политики и общественности осветить каким-то гораздо более из глубины идущим источником света, что не еженедельная публицистика, а философско-религиозный синтез должен поглощать его духовную энергию” (там же, лл. 9—10).

97

М а н у й л о в Александр Аполлонович (1861–1929) — экономист, в 1905–1911 гг. ректор Московского университета.

98

Данное письмо нами не обнаружено; аналогичное письмо к М. К. — см. письмо 58 и прим. 99.

99

Письмо П. Б. Струве (редактировал в МЕ экономический отдел) от 4 августа 1910 г. (2, 33, л. 78.

100

Знаменка, 11 (угол Знаменского пер.) — здесь расположилась контора книгоиздательства “Путь” и некоторое время нанимала квартиру М. К.

101

“С удовольствием читал некоторые номера “Московск. Еженедельника” за это лето: было много интересных и живых статей” (письмо от 6 августа 1910 г. — 1, 39, л. 6).

102

Основная часть коллекции картин русских художников, собранной М. А. Морозовым, была передана М. К. в дар Третьяковской галерее — “за исключением некоторых вещей, которые она пока оставляет за собой” (см. письмо В. А. Серова И. С. Остроухову от 22 февраля 1910 г. в кн.: “Валентин Серов в переписке, документах и интервью”. Л. 1989, т. 2, стр. 204–205). Сочетание Васнецова с Бёклиным весьма выразительно характеризует мироощущение М. К.

103

См. письмо С. А. Котляревского от 24 августа, прим. 96.

104

Речь идет о завершенных главах книги Е. Н. “Миросозерцание В. С. Соловьева”.

105

См. прим. 94.

106

См.: Эрн В. Ф., “Нечто о Логосе, русской философии и научности (По поводу нового философского журнала “Логос”)” (МЕ, 1910, № 29–32; приведенная цитата — № 30, стр. 35). Весной 1910 г. в Москве и Тюбингене начал выходить “Международный журнал по философии культуры”, объединивший представителей “трансцендентально-логического идеализма”, русских последователей Г. Когена и П. Наторпа(С. И. Гессен, Э. К. Метнер, Б. В. Яковенко, Ф. А. Степун и другие). Между логосовцами и путейцами (ядро которых сложилось уже в МЕ) сразу же возникло острое идейное противостояние, начало которому положила указанная статья В. Ф. Эрна (вошла в сб.: Э р н В. Ф. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М. “Путь”. 1911). Споры между “христианами” и “кантианцами” очень занимали М. К. и часто происходили в узком философском кружке, собиравшемся в ее доме (см. письмо 88). В то же время М. К. поддерживала со многими логосовцами личные дружеские отношения, в особенности с братьями Метнерами (см. “Мои воспоминания”, глава “Метнер”, стр. 105–109). Судя по намеку в письме П. Б. Струве к М. К. от 29 октября 1909 г., “Логос” поначалу рассчитывал на финансовую поддержку М. К. (2, 33, лл. 1–3). О “Логосе” подробно см.: Безродный М. К., “Из истории русского неокантианства (Журнал “Логос” и его редакторы)”. — “Лица. Биографический альманах”. Вып.1. М. — СПб. 1992, стр. 372–407.

ME, 1909, № 30, стр. 35.

108

См. прим. 96.

109

“Было бы слишком обидно, если бы русское общество дало погибнуть этой внепартийной прогрессивной трибуне, необходимость которой чувствуется очень сильно. Не всегда и не во всем мы соглашались с “Московским Еженедельником”, но очень часто нам приходилось отмечать серьезные, проникнутые глубоким сознанием долга и ответственности перед Россией статьи как самого редактора “Московского Еженедельника”, так и многочисленных его сотрудников. Журнал занял определенное, своеобразное место в рядах русской публицистики” (“Речь”, 22.8.11).

110

Издание непериодических сборников статей, выражающих “боевую линию”, стало одним из направлений “Пути” (см. письмо 88); вышло, однако, только два (“О Владимире Соловьеве” и “О религии гр. Л. Н. Толстого”).

111. Частично опубликовано: “Новый мир”, 1991, № 7 (приносим извинения за не отмеченную нами купюру). В декабре 1910 г. Е. Н. выехал с семьей за границу на четыре месяца для научных занятий. Газета “Утро России” (29 декабря, № 337) сообщила, что отъезд Е. Н. связан с его столкновениями со студентами.

Один из участников этой прогулки, кн. Сергей Евгеньевич Трубецкой, много лет спустя вспоминал о детских заграничных путешествиях: “Папа путешествовал не иначе как с большим количеством книг, и куда бы мы ни приезжали, у него всегда был свой кабинет для занятий, но во время путешествий Папа гораздо чаще, чем в городе или даже в деревне, “спускался на землю” и жил общей жизнью с нами. В Папа просыпалась туристическая жилка, и он с увлечением совершал с нами большие экипажные и пешие прогулки. От этого особенно выгадывал я, так как Саша был еще слишком мал. Никогда в детстве я так много не общался с Папа, как за границей. Он много разговаривал со мною во время прогулок, обо многом рассказывал, многое показывал и объяснял” (Трубецкой С. Е. Минувшее, стр. 38).

113

Увиденное произвело на Е. Н. столь сильное впечатление, что эта сцена открывает **его** известную работу “Умозрение в красках” (М. “Путь”. 1916).

В строгом смысле Соловьев вегетарианцем не был: мяса он не употреблял в пищу, но ел рыбу, в гостях же он не отказывался от мясного даже в дни поста.

115. Сцена из “Зигфрида” Вагнера; о символике огня в этой сцене см.: Лосев А. Ф., “Проблема Вагнера в прошлом и настоящем” (в сб.: “Вопросы эстетики”. Вып. 8. М. 1968, стр. 185).

116

Предыдущее письмо, которое нам не удалось выделить из не датированных писем М. К., было отправлено накануне, 23 декабря (см. следующее письмо).

117

С. Е. Трубецкой вспоминал о своем отце: “Во время заграничных путешествий он приходил в особенно восприимчивое состояние для ощущения красоты. Как Папа любил Рим и Флоренцию! Надо было видеть его там! Его многогранная природа, одаренная ко всему — кроме как к прекрасной жизни! — являлась там для тех, кто мало его знал, под неожиданным углом зрения” (Т р у б е ц к о й С. Е. Минувшее, стр. 39; там же, стр. 71).

118

См. прим. 19.

119

Источник цитаты не установлен.

120

Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. Идея Божественного царства в творениях Григория VII и публицистов его времени. Киев. 1897. Григорий VII — римский папа (1073–1085).

121

М. К. обыгрывает название небольшой политической партии, объединявшей интеллигенцию столиц, органом которой служил МЕ. Входивший в партию Г. Н. Трубецкой вспоминал: “Про нее говорили, что все ее члены умещаются в купэ вагона. Ее основатели не имели настойчивости и аппетита власти. Они были, быть может, для этого слишком “баринами”. Но, образуя аристократическое меньшинство, каждый из них в силу личного уважения, которое внушал, заставлял к себе прислушиваться. Эта маленькая группа была чем-то вроде голоса общественной совести” (Трубецкой Г. Н., “Воспоминания. Облики прошлого”. — ОР РГБ, ф. 743, к. 13, ед. хр.1, л. 123). См. также: Трубецкой Е. Н., “Партия □мирного обновления»” (МЕ, 1906, № 33).

122

Заключительная строфа из стихотворения В. С. Соловьева “Мы сошлись с тобой недаром…”.

123

Л о т ц е Рудольф Герман (1817–1881) — немецкий философ; упомянутый М. К. “Микрокосм” написан и переведен на русский язык в 50—60-е гг. В начале 900-х гг. пропагандистом философии Лотце был С. Л. Кобылинский, брат поэта Эллиса (см. прим. 73).

124

Художник В. М. Васнецов нередко бывал в гостях у М. А-Морозова, продал ему некоторые свои работы.

«Рачинский Григорий Александрович (1859–1939) — литератор, переводчик и философ, председатель Религиозно-философского общества. Страдал периодически обострявшейся психической болезнью (см. также письмо 76 и прим. 142).

С С. Н. Булгаковым.

127

См. прим. 120.

[1M] Имеется в виду мраморная копия со скульптуры Леохара (IV в. до н. э.), хранящаяся в Ватикане.

129

Литературно-артистический кружок возник в доме М. К. весной 1905 г. “Она приглашала несоединимые, вне ее доме не встречавшиеся элементы: для^ “дружеских”, интимных чаев с музыкой и разговорами <…> я стал встречаться в ее салоне с людьми, доселе меня ненавидевшими: профессорами Лопатиным, Хвостовым, Сергеем Трубецким, Фортунатовым, Кизеветгером…” (Белый А. Начало века, стр. 505). Постепенно вечера трансформировались в философский кружок с регулярными рефератами. Организован он был “частным образом” после того, как Л. М. Лопатин отклонил выступление Анри Бергсона в Психологическом обществе, сорвав его намечавшийся приезд в Москву. Цель кружка состояла в том, чтобы “дать возможность приезжающим из-за границы, окончившим там университет, прочесть доклад” (Морозова М. К., “Мои воспоминания”, 104). Упомянутая М. К. повестка в письме отсутствует.

130

Школа для крестьянских детей была выстроена М. К. в селе Белкино, неподалеку от Михайловского. В данном *случае* речь идет, очевидно, о планах детской колонии, организованной в 1911 г. педагогом С. Т. Шацким на земле, специально купленной для этой цели М. К- (см.: Шацкий С. Т. Педагогические сочинения. М. 1962, т. 1, стр. 303–449). После октября 1917 г. колония была реорганизована в Первую опытную станцию Наркомпроса и перешла под патронах Н. К. Крупской. С. Т. Шацкий быстро освоил “новый дух” и, по словам Крупской, заслужил похвалы от Ленина (см. там же, стр. 29).

131

Речь идет о сборнике “О Вл. Соловьеве” (обстоятельства его издания излагаются в последующих письмах). Б. Н. поместил в нем две работы: “Личность В. С. Соловьева” (расширенный вариант статьи “Владимир Сергеевич Соловьев (По личным воспоминаниям)”. — “Московский еженедельник”, 1906, № 5; вошло в кн. “Миросозерцание В. С. Соловьева”) и “Владимир Соловьев и его дело”, которая была прочитана на заседании Психологического общества в память В.С. Соловьева 6 ноября 1909 г. (см.: “Вопросы философии и психологии”, 1910, кн. 106(1), стр. 126).

132

Волжский (наст. фам. Глинка) Александр Алексеевич'(1878–1940) — историк литературы, автор статей на религиозные темы. В 1914 г. в издательстве “Путь” вышла его книга “В обители преподобного Серафима”.

133

К а с с о Лев АриСтидович (1865–1914), был назначен управляющим министерством народного просвещения в конце 1910 г. по инициативе П. А Столыпина (см.: Витте С. Ю. Воспоминания. М. 1960, т. 3, стр. 538–539). 16 января 1911 г. на основании решения совета министров Л. А Кассо разослал в университетские советы циркуляр, в котором последним было предложено выработать меры “для установления действительного надзора за учащимися”; одновременно советы предупреждались, что в случае неисполнения требований министерства это “приведет общегосударственную власть к необходимости принятия особых мер к упорядочению внутренней жизни высших учебных заведений” (“Русские ведомости”, 1911,16 и 17 января). О последовавших вслед за этим событиях см. в последующих письмах.

В. М. Хвостов (см. прим. 60).

135

С епископом Босненским и Сремским Иосифом Георгом Штроссмайером (1815–1905) Соловьев встречался в 1886 и 1888 гг. в Загребе и обсуждал перспективы церковного объединения. В апреле 1888 г. Штроссмайер представил через кардинала-секретаря Рампол-лу большую записку папе Льву XIII, в которой сообщал, что “этою весною прибудет в Рим Владимир Соловьев, человек настолько же ученый, насколько и благочестивый, который много хлопочет по делу о соединении церквей” (“Письма Владимира Сергеевича Соловьева”. СПБ. 1908, т. 1, стр. 192). См. также письмо, опубликованное нами ранее (“Новый мир”, 1990, № 7, стр. 225–226), и настоящую публикацию, письма 84, 87 и прим. 159.

136

Д ю ш е н Луи (1843—?) — французский исследователь древней церковной жизни и литературы. Его основной труд, “История древней церкви”, был выпущен издательством “Путь” (т. 1, 1912; т. 2, 1914).

137

См. прим. 131.

138

Ср. прим. 112.

139

М. К. читала сочинение профессора богословия Казанской духовной академии Виктора Ивановича Несмелова “Наука о человеке” (впервые опубликовано в 1896—189& гг., затем несколько отдельных изданий). Философией Несмелова особенно увлекался Н. А Бердяев — см. его работу “Опыт философского оправдания христианства (О книге Несмелова “Наука о человеке”)”, прочитанную в качестве доклада в московском, петербург-

ском и киевском религиозно-философских обществах (“Русская мысль”, 1909, № 9, стр. 54–72).

140

Новоселов МихаилАпександрович (1863–1938 или 1940) — религиозный писатель, в 1902–1917 гг. выпускал “Религиозно-философскую библиотеку” (в Вышнем Волочке, Москве и Сергиевом Посаде), всего 39 выпусков, — маленькие книжечки, включавшие наряду с написанным самим Новоселовым в основном фрагменты религиозных сочинений разных авторов. (Благодарю С. М. Половинкина за консультацию.)

141

Мать М. К. — Маргарита Отговна Левенштейн; ее отец, Отго Иванович, “был ревностный католик и принимал деятельное участие <…> в постройке римско-католической церкви в Москве, где был постоянно старостой” (Морозова М. К. Мои воспоминания, ‘стр. 91).

142

Семьи Рачинских и Мамонтовых состояли в свойстве: Г. А. Рачинский был женат на двоюродной сестре М. К. Татьяне Анатольевне Мамонтовой; сестры последней, Наталья и Прасковья, были последовательно замужем за Александром Константиновичем Рачинским (см. также прим. 125).

143

Речь может идти либо о брошюре В. С. Соловьева “Русская идея”, либо о его книге “Россия и вселенская церковь” (вышли в “Пути” в переводе Г. А. Рачинского в начале и конце марта 1911 г.).

Сборник “О Вл. Соловьеве” удалось выпустить в мае 1911 г.

145

Якунчиковы и Мамонтовы состояли в родстве: знаменитый богач В. И. Якунчиков был женат на Зинаиде Николаевне Мамонтовой, тетке М. К., его сын от первого брака — на Марии Федоровне Мамонтовой, двоюродной сестре М. К.

146

Князь Сергей Александрович Щербатов, художник и коллекционер живописи, автор книги “Художник в ушедшей России” (Нью-Йорк. 1955), — родной брат жены Е. Н.

147

О г н е в Александр Иванович, Ш п е т(т) Густав Федорович, С т е п у н Федор Августович, Ф о х т Борис Александрович — философы, группировавшиеся вокруг “Логоса” (см. прим. 106).

148

В ответ на циркуляр Л. А Кассо (см. прим. 133) 28 января на экстренном заседании совета университета ректор А А Мануйлов “представил совету доклад о создавшемся в университете положении и заявил, что при таких условиях он не видит возможности нести на себе обязанности ректора и подает прошение об отставке. Такие же заявления были сделаны помощником ректора М; А Мензбиром и проректором П. А Минаковым. Совет <…> признал, что при создавшемся положении выборная университетская администрация не может нести возложенные на нее обязанности” (“Русские ведомости”, 29 января). 2 февраля в “Правительственном вестнике” появился высочайший указ, согласно которому Мануйлов, Мензбир и Минаков увольнялись от должности. 3 февраля подали прошение об отставке профессора: В. И. Вернадский, Н. А Умов, В. А Хвостов, С. А Чаплыгин, Г. Ф. Шершеневич, Д. М. Петрушевский. А А Эйхенвальд, И. П. Алексинский; приват-доценты: Ф. Ф. Кокошкин, А А Кизеветтер, В. И. Сыромятников, П. Н. Сакулин, В. И. Полянский, Г. В. Вульф, Н. В. Давыдов, А Э. Вормс, Н. К. Кольцов, И. А Кистяковский, Н. Н. Шапошников, А А Боровой, Г. И. Россолимо, А В. Цингер, М. К. Гернет, Д. Ф. Синидын, В. М. Устинов, А В. Кубицкий, Н. Д. Виноградов (см. “Русские ведомости”, 4 февраля). П. И. Новгородцев и С. Н. Булгаков подали прошение на другой день (там же, 5 февраля). В последующие несколько дней отставки продолжались.

149

Ш и п о в Дмитрий Николаевич (1851–1920) и князь Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) — крупные деятели земского движения; впрочем, возможно, Е. Н. намекает на И. П. Шилова, министра торговли и промышленности, оставившего свой пост из-за разногласий со Столыпиным в 1909 г.

150

П а л ь м ь е р и Аурелио — священник, “ученый августинец, влюбленный в Россию и православие”, дружил с многими русскими религиозными мыслителями, в частности с В. Ф. Эрном и Вяч. Ивановым (см.: Иванова Лидия. Воспоминания. Книга об отце. М. 1992, стр. 52).

151

См. прим. 136.

152

Модернизм — направление в религиозной мысли, стремившееся согласовать католическое вероучение с современным научным и философским мышлением. Неоднократно осуждался в декретах и энцикликах папы Пия X. В 20-е гг. Пальмьери примкнул к этому движению (см.: Иванова Лидия. Воспоминания…, стр. 52).

153

См. письмо 84 и прим. 159.

154

В университете им. А Л. Шанявского семинарий Е. Н. начал действовать в 1911/12 учебном году и был посвящен философии В. С. Соловьева; состав участников в основном остался прежним, как и в университете. “Преимущественной формой обсуждения являлось чтение рефератов и обмен мнений по поводу прочитанного. В случае отсутствия следующего по очереди реферата прочитывалась и подвергалась обсуждению соответствующая часть работы кн. Е. Н. Трубецкого о Вл. Соловьеве, тогда появлявшейся в печати”. В 1912/13 учебном году семинарий был посвящен новейшей русской философии, а в 1913/14-м — философии трансцендентального идеализма. В числе семинаристов были Л. В. Успенский, А М. Ладыженский, Н. В. Устрялов, Н. Н. Фиолетов и другие. Семинарий закрылся, так как “дальнейшее общение членов семинария и его руководителя могло протекать во внеакадемических формах” (“Научные бюллетени Московского городского университета им. А Л. Шанявского”. Вып. 1. М. 1914, стр. 198).

155

Речь идет о заседании Религиозно-философского общества, посвященном десятилетию кончины В. С. Соловьева, состоявшемся 10 февраля 1911 г. в здании Политехнического музея. Вяч. Иванов прочел доклад *“О* значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания”, Н. *А.* Бердяев — “Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева”, А. А. Елок — “Рыцарь-монах” (текст был прочитан- М. И. Сизовым), В. Ф. Эрн — “В. Соловьев как философ” (отзывы современников о заседании см.: Блок Александр. Новые материалы и исследования. “Литературное наследство”, т. 92, кн. 3, стр. 378–381. М. 1982). Первые три доклада вошли в сборник “О Вл. Соловьеве”.

156

Яковенко Борис Валентинович (1884–1948) — философ, весной 1911 г. вернулся в Москву из Сорбонны и был восторженно встречен группой философов “Логоса” (о кружке см. прим. 129). Упомянутая повестка отсутствует.

157

“Русские ведомости”, 11 февраля, под заголовком “Письмо в редакцию”. Инициатор протеста Сергей Иванович Четвериков, крупный промышленник (шерстяное производство и др.), дальний свойственник М. К-, много лет спустя вспоминал о своем участии: “Крупный промышленник и видный общественный деятель А. И. Коновалов устраивал у себя два раза в месяц собрания, на которые приглашались представители промышленности и видные профессора <…> для обмена мыслей по экономическим вопросам. Помню как неизменных посетителей профессоров П. И. Новгородцева и С. А Котляревского. <…> С этим временем совпало гонение со стороны правительства на передовые элементы московской профессуры. В очередном собрании Александр Иванович возбудил вопрос о том, не следует ли также купечеству, много сыновей которого числится в числе студентов Московского университета, тоже присоединить свой голос к общему протесту московского общества. Мысль эта нашла полный отклик со стороны собрания; и решено было, не теряя времени, опубликовать такой протест за подпдсью возможно большего числа лиц московского купечества; составление текста этого протеста было поручено мне <…> Было составлено два экземпляра текста, и, разделив между собой списоклид, от которых было желательно *получить* подписи, Коновалов и я на другой день отправились их собирать. <…> Было собрано 66 подписей. <-..> Так как я был знаком с главным редактором “Русских Ведомостей”, Соболевским, то мне было поручено упросить его поместить этот протест в следующем же № “Р. В.”. Соболевский настолько этим заинтересовался, что при мне вызвал метранпажа, распорядившись переставить текст уже почти готового № и поместить наш протест на первой странице” (Ч е т в е-р и к о в С. И. Безвозвратно ушедшая Россия. Берлин, б/г, стр. 53–54; см. также: Б у-рышкин П. А Москва купеческая. М. 1990, стр. 295–301; там же воспроизведен текст протеста). Заметим, что М. К. имела влияние на В. М. Соболевского через свою свекровь В. А Морозову, состоявшую с редактором “Русских ведомостей” в гражданском браке.

158

Очевидно, телеграмма связана с подачей Б. Н. прошения об отставке: 10 февраля “Русские ведомости” сообщили, что “от профессора князя Е. Н. Трубецкого из Рима на имя Н. В. Давыдова получена телеграмма с извещением, что он посылает и. о. ректора Московского университета заявление о своей отставке”. Возможно, в сообщениях своим коллегам (либо в утраченном письме к М. К.) Е. Н. высказывал предположение искать место в университетах Европы.

159

В 1888 г., будучи в Париже, Соловьев опубликовал в католической газете “L’Univers” две статьи: “Владимир Святой и христианское государство” и “Ответ на корреспонденцию из Кракова”. На русском языке впервые были изданы “Путем” в переводе Г. А Рачинского, с предисловием Е. Н. и с приложением отрывка из письма еп. Штроссмайера. кардиналу Рамполле в 1913 г. (вошли в издание: Соловьев В. С. Сочинения в 2-х тт., т. II).

160

Измененная цитата из “Моцарта и Сальери”.

161

См. письмо 12 и прим. 32, 33.

162

То есть в конце первой недели Великого поста (начался 21 февраля).

163

См. прим. 157.

164

“В религиозно-философском обществе” (“Русские ведомости”, 11 февраля, то есть в одном номере с протестом 66 промышленников). Е. Н., похоже, относился к В. Ф. Эрну несколько пристрастно. Его выступление было передано корреспондентом в следующем виде: “В. Соловьев первый после Платона сделал огромное новое открытие. В царстве умопостигаемого бытия В. Соловьев открыл определенные ослепительные черты “вечной женственности” <…> Он мог <… > с полной внутренней свободой отнестись и к западной философии, на которую он сумел взглянуть <…> взглядом зодчего, и поэтому только он и осмелился поставить знак идеального равенства между нею и духовными сокровищами Востока”. Доклад Эрна включен в его книгу “Борьба за Логос” (“Путь”. 1911). В книге “Миросозерцание Вл. Соловьева” Е. Н. развил полемику с Эрном по поводу Софии (т. 1, стр. 51; на стр. 355 имеются ссылки на соответствующие труды Баадера).

165

Трубецкой Е. Н., “К уходу профессоров (Письмо в редакцию)” (“Речь”, 23 февраля). Е. Н. объяснял коллективную отставку как “протест против всякой политики в университете” и возлагал ответственность за нее в равной мере “на революционные комитеты и на правительство”.

166

“Из Рима мы с братом ездили в Сицилию, Которую объехали кругом по железной дороге, останавливаясь в разных местах. В Неаполе мы вновь встретились с нашими родителями и сестрой. Проведя некоторое время в окрестностях Неаполя и на Капри, мы — с остановкой в Сиене — проехали во Флоренцию” (Трубецкой С. Е. Минувшее, стр. 72).

167

Евангелие от Матфея, 24, 8; of Марка, 13, 8.

168

См. прим. 135 и 159.

169

Кубицкий Александр Владимирович — философ неокантианской ориентации. Перевод Платона в “Пути” не выходил.

170

См. прим. 35.

171

Вероятно, речь идет об одном из многочисленных воззваний в поддержку ушедших в отставку преподавателей, регулярно появлявшихся на страницах “Русских ведомостей” и др. газет. Воззвание, подписанное С. А. Котляревским, нами не обнаружено.

Видимо, с С. И. Четвериковым (см. прим. 156).

173

Очевидно, речь идет о докладе Б, В. Яковенко, о котором сообщалось в письме 81;

доклад прошел бурно: в письме от 19 февраля 1911 г. Э. Метнер писал А- Белому: “Он (Яковенко. — *А. Н.)* прочел реферат <…> где высек жестоко Эрна, но, конечно, не прямо, а косвенно; были ожесточенные прения, и наши обскуранты (Бердяев, Эрн) договорились до credo quia absurdum est, до мыслей типично инквизиционно-иезуитски-католических; нет, уж знаете, *тогда я* лучше на стороне Когена, ибо в этом возмутительном рабском догматизме больше жидовства, чем в сдвинутом со своих арийских скреп кантианстве Когена” (ОР РГБ, ф. 25, к. 20, ед. хр. 7, л. 5; благодарю К. Ю. Постоутенко, любезно предоставившего данный документ для настоящей публикации).

Тему доклада Ф. А. Степуна выяснить не удалось. В своих позднейших “Воспоминаниях” (Нью-Йорк. 1954, т. 1) Сгепун посвятил М. К., к&горую остроумно назвал “княгиней Елагиной XX века”, немало доброжелательных, но скептических по отношению к ее философским способностям строк.

175

Кривошеий Александр Васильевич (1858–1923) — был главноуправляющим земледелием и землеустройством в 1908–1915 гг., активно проводил аграрную политику П. А. Столыпина. С кругом художников и промышленников сблизился в бытность юрисконсультом у С. И. Мамонтова; был женат на дочери Тимофея Саввича Морозова, таким образом, состоял с М. К. в дальнем свойстве (см.: Кривошеий К. А А В. Кривошеий. Его значение в истории России начала XX в. Париж. 1973).

176

Видимо, имеется в виду статья В. Ф. Эрна “Нечто о Логосе…” (см. прим. 106).

177

Телеграмма Е.ˆН. (принята в Москве 7 марта): “Passerai une semaine (пробуду одну неделю. — *Франц.)* Hotel Londres Loreles” (7, la, л. 51).

178

Весной 1909 г. (см. письмо 1).

179

Сборник “Вехи” вышел с предисловием М. О. Гершензона, в котором была сформулирована “общая платформа” его участников. В результате ряд авторов после выхода книги вынужден был отмежеваться от скандально знаменитой “ужасной фразы” в статье того. же Гершензона (см.: Колеров М. А, “Архивная история сборника Вехи»” (прим. 22); также: “К истории создания Вех»”. — “Минувшее”, вып. 11, стр. 288, комм. В. Проскуриной и В. Аллоя).

180

После того как закон о западном земстве, подготовленный советом министров, не получил одобрения в Думе и Государственном совете, 13 марта занятия этих органов власти были прерваны на три дня, в течение которых П. А Столыпин этот закон и провел. Поскольку приостановка деятельности Думы и Совета не имела юридического обоснования, процедура в целом представлялась незаконной. Одновременно назревал конфликт между Россией и Китаем, связанный с отказом последнего следовать договору 1881 г. о беспошлинной торговле для русских подданных в Маньчжурии и Западном Китае. Слухи о возможности военных действий со стороны России действительно активно циркулировали в прессе, однако волнения Е. Н. оказались преувеличенными — не в последнюю очередь из-за известных пророчеств В. С. Соловьева о “панмонголизме” и “китайской угрозе”, которую тот обсуждал в последние дни жизни с братом Е. Н., С. Н. Трубецким.

181

П. А Столыпин был инициатором “жесткого” ответа на поданные прошения об отставке московской профессуры: 2 февраля “Русские ведомости” сообщали, что, по слухам, “на совещании между председателем совета министров и министром народного просвещения решено отнестись к отставке ректора и проректора как к явлению, имеющему демонстративный характер” (см. также прим. 148).

182

Намек на работу В. С. Соловьева “Жизненная драма Платона”.

183

Источник цитаты нами не установлен.

184

В 1909 г. бюджет Психологического общества складывался следующим образом:

поступило 4060 р. 84 к., из них от М. К 3000 р.; в контору журнала ВФП выдано 3741 р., то есть журнал фактически выходил полностью на деньги М. К- (см. ВФП, 1910, кн. 102, стр. 195–196).

речь вдет о книге Л. М. Лопатина “Философские характеристики и речи” (М. “Путь”. 1911), вышла в начале марта 1911 г.

186

Первоначальный вариант предисловия, написанный С. Н. Булгаковым, нами не отыскан. Имеется текст, полностью написанный Е. Н., текстуально совпадающий с опубликованным, за исключением снятой С. Н. Булгаковым (см. его письмо к М. К- ф. ‘171, к. 1, ед. хр. 7, л. 1) фразы: “Потребность в новом церковном самоопределении давно чувствуется той частью образованного общества, которая сохраняет свою связь с родной церковью, хотя и не закрывает глаз на язвы современной нашей церковной жизни” (ф. 171, к. 9, ед. хр. 10). Фраза, о которой пишет Е. Н.: “Книгоиздательство “Путь”, однако, ставит вне вопроса и сомнения общую религиозную задачу России и ее призвание послужить в мысли и в жизни всестороннему осуществлению вселенского христианского идеала” (“О Вл. Соловьеве”,

187

Письмо к пугейдам в значительной части опубликовано (см. “Новый мир”, 1990, № 7, стр. 228; там же подводящее итог дискуссии вокруг “Предисловия” и принципиально важное для понимания разногласий Е. Н. с идейным ядром “Пути” письмо В. Н. к М. К. от 1 апреля, опущенное в настоящей подборке, а также — письмо С. Н. Булгакова к М. К. с оценкой сложившейся вокруг предисловия ситуации).

Вышедшее в “Пути” полное собрание сочинений И. В. Киреевского в 2-х тт., под ред. М. О. Гершензона.

189

См. прим. 139.

Г. Н. Трубецкой.

191

Л. М. Лопатин и С. А. Котляревский не присоединились к коллективной отставке и продолжали преподавать в университете.

Выражение пасхальной стихиры. /

193

Бр.аад — герой одноименной драматической поэмы Г. Ибсена.

194

См. письмо 12 и прим. 31, 32.

195

См. прим. 191.

196

В 1911 г. Пасха приходилась на 10 апреля.

197

См. прим. 135.

198

Славянская библиотека основана в 1855 г. иезуитом о. И. Гагариным. Ее активные деятели ро. иезуиты П. Пирлинг и И. Мартынов поддерживали дружеские. отношения и переписку с В. С. Соловьевым, его письма к ним хранятся в библиотеке. В 1901 г. из-за гонений на иезуитов со стороны государства библиотека была вынуждена перебраться в Брюссель, куда и собирался В. Н. В настоящее время находится в Медоне, близ Парижа.

199

Михаил Михайлович Осоргин был женат на сестре В. Н., Елизавете Николаевне. Имение Осоргиных Ферзиково находилось в селе Сергиевское, близ Серпухова.

200

В “Гибели богов” (финад едены 3, действие 1) Зигфрид обращается к своему мечу:

“Будь стражем верности братской, нас с женой ты врозь держи!” (Пер. В. Коломийцева.)

201

См. прим. 154.

202

См. прим. 130.

203

Несколько неточная цитата из стихотворения А. А. Фета.

Очевидно, “Смысл жизни” (М. 1918).

*

Совершенно разочарована два месяца борьбы делают все что ты сам хотел от меня надеясь победить мои чувства все эти неожиданные обстоятельства сокрушают мое сердце наполняя ужасом умоляю не принимай никакого решения без меня теряю силу надежду без твоей поддержки ты должен знать о моей безграничной любви сделаю все на свете чтобы сохранить наши отношения не могу допустить что ты хотел бы разбить мою душу и мою жизнь хочу уехать в Рим немедленно задержусь на две недели телеграфируй пиши *(франц.),*

*

Успокойся никакого решения не принято письмо следует решим вместе умоляю не приезжать в Рим *(франц.)*.